

# Вещь

1(7)/2013

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

## Поэзия

Александр Кузьмин

Георгий Звездин

## Проза

Наталья Лукьянова

Семен Ваксман

## In Memoriam

Дмитрий Долматов

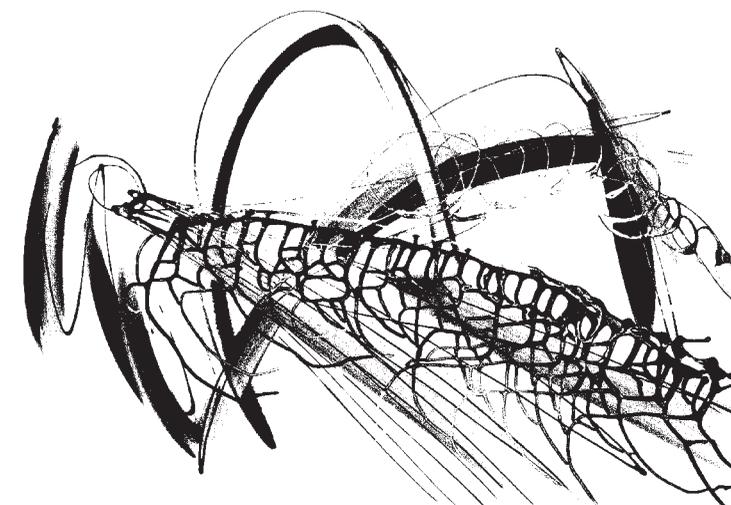


# Вещь

1(7)/2013

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

При поддержке  
Правительства  
Пермского края



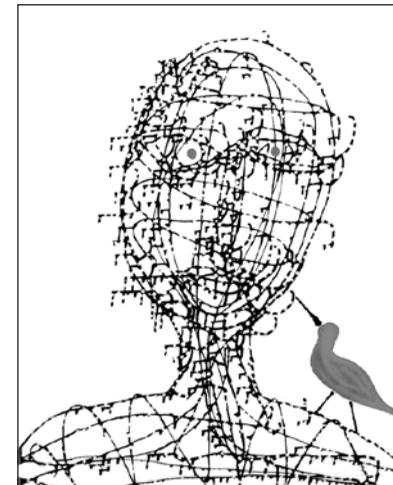
ПЕРМЬ 2013

## Содержание

- 3 .....Александр Кузьмин *Шрамом поперек руки (стихи)*
- 6 .....Наталья Лукьянова *Бултыхание в небесах (фрагменты романа)*
- 36 .....Георгий Звездин *Сага (стихи)*
- 42 .....Семен Киров *Папка! (пьеса в одном действии на одного актёра)*
- 49 .....Дмитрий Долматов (1971-1992) *Стихи, письма, воспоминания*
- 63 .....Екатерина Гашева *Двери закрываются (рассказ)*
- 67 .....Ярослав Глущенко *На взъерошенном небе (стихи)*
- 70 .....Семен Ваксман *Я стол накрыл на шестерых (нон-фикшн)*
- 90 .....Круглый стол «Как делать литературу?» *Опыт регионального культурного проектирования*
- 98 .....Андрей Кудрин *Лбовщина до «Лбовщины» (литературно-историческое расследование)*
- 112 .....Алена Лузина, Мария Мишуровская, Екатерина Симонова, Раиса Базанова, Кристина Суворова, Марта Шарлай *Рецензии («Поэтический путеводитель по городам «Культурного альянса», «Учитель иврита», «Йод», «Топография террора», «Materies», «Я на той же улице старинной...», «По-пермски говоря»)*
- 130 .....Авторы номера

## Поэзия

Александр Кузьмин

*Шрамом поперек руки*

В предлагаемую подборку вошли неизданные тексты разных лет пермского поэта Александр Кузьмина. Стихотворения готовились для «Антологии пермской поэзии» — последнего тома книжной серии «Пермь как текст». Однако книга так и не увидела свет. «Вещь» решила восполнить этот пробел, предоставив читателю возможность познакомиться со стихами Александра Кузьмина, которые публикуются не так часто, как они этого заслуживают.

\*\*\*

В створ пашен темных красный блик  
ударил — будто бы от меди.  
Со мной прощается кулик.  
Он говорит: аз, буки, веди...  
О светлый свет! О край болот!  
Озерный край! Твоя махина —  
всех чувств моих переворот  
от изб мерцающих до тына.  
Широкий двор, покойный двор —  
живая мощь предубежденья —  
взбирается на косогор.  
И рассыпаются поленья.

### Возвращение

1.

Как горела Москва,  
да пылала Москва,  
да гуляла молва  
от села до села:  
мол, травую Москва  
поросла, а трава  
вся от пепла бела.

2.

Я стоял на холмах  
за Окою-рекой.  
Что пылала Москва,  
я того не видал,  
и молвы не слышал,  
и тревожить не стал  
я усталой дружины покой.

3.

А наутро, седлая коней ретивых  
да за полдень к Москве подъезжая,  
я услышал начальные всплески молвы,  
я увидел печальные стебли травы,  
и над пеплом могил  
черный ворон кружил,  
все сужая круги да сужая.

\*\*\*

Без бродяг куда нам деться?  
Без бродяг и жизнь плоска.  
Не на кого опереться  
в скучный час, когда тоска.  
Как без них, без пилигримов —  
Хлебниковых наших дней,  
и ушедших к стогнам Рима  
и к стогам родных полей?  
Как без них?.. Да просто очень:  
как без хлеба — на воде,  
как без вечера и ночи,  
без защитника в суде.

### Кипарисный крест 2

А здесь нас разбойники подстерегли.  
Мы не растерялись — от них убегли.  
Ах, как мне хотелось пришпорить осла,  
но мудрость Твоя животину спасла.  
Мы скопом взбирались на гору Синай.  
Данила сказал мне: «Пути выбирай».  
И я начертал на обломках скрижали:  
нас нудили тати, но мы убежали.

\*\*\*

Сказано: не подличай, не лги.  
Я не подличаю, я не лгу.  
Просто шрамом поперек руки —  
поперек себя гоню пургу.  
Поперек горбатого леплю.  
Просекаешь? Ну, секи, секи.  
Просто шрамом поперек руки.  
Просто кровью — поперек «люблю».

\*\*\*

... не вспоминайте — вспоминать не надо:  
задует ветер, задымятся печки.  
Ужель, Россия, вся твоя отрада —  
вот в этой маленькой восковой свечке?

Когда поют деревья голосами  
февральскими, — на клиросе весна.  
И не горит свеча под образами,  
поскольку спичка не поднесена.

\*\*\*

Села на завалинку, села,  
руки на груди сложила  
и запричитала-запела:  
«Ой, да где ты спрятался, милый?»

А старухин голос — криница,  
а слеза старухи — копейка.  
«Ой, да не темна ли земляца,  
не худа ль твоя телогрейка?»

Сапоги не просят ли каши?»  
Вровень стала хмурому грому.  
Дрогнули пернатые стражи,  
в сумерки добавили бромю.

Скручивались петли дверные.  
И скрипели сами собою,  
наклонясь, древесные выи,  
натошак, старухой второю.

\*\*\*

Фет не просто откроет глаза,  
Фет посмотрит и скажет: не надо.  
И от Фетова темного взгляда  
враз приникнут к земле небеса.  
И, приникнув к земле и припав,  
всё оставят до горнего света,  
где одна из застав  
потревожена дрожками Фета.

\*\*\*

Что Саламин Фемистокла?  
Что Марафон Мильтиада?  
Игорь убит при Каяле.  
Игоря нету. Ни «Слова».  
Кречеты-лебеди вьются,  
лебеди-кречеты стонут:  
«Игорь убит при Каяле.  
Игоря нету...» Ни слова —  
сыграна пьеса. Не надо.  
Капли ударили в стекла.  
Что Саламин Фемистокла?  
Что Марафон Мильтиада?

\*\*\*

Если стукнет смерть в окошко,  
не печалься, не тужи,  
скушай хлебушка немножко  
да котомку повяжи.  
Попрощайся у порога  
и ступай себе вперед,  
ведь, по сути, смерть — дорога;  
всё куда-нибудь ведет.

### Стена или псалом

Я пишу Тебя, Господи, краской земною,  
а небесной бы надо, да где ее взять?  
Заперт в келии я — обступила стеною  
монастырь наш старинный бесовская рать.

Там, на воле, струится прозрачная речка,  
а за речкою лес, а за лесом овраг.  
Мир Господень велик — да пребудет он вечно,  
да смутится и вытечет дьявольский зрак,

да зальются бесовские глотки смолою,  
и да лопнут сердца от наплыва тоски.  
Я пишу Тебя, Господи, краской земною,  
И, дрожа, прикипают к стене кулаки.

Наталья Лукьянова

## Бултыхание в небесах

(произвольные отрывки из романа)



Главная героиня романа — студентка художественно-графического факультета пединститута города Нижний Тагил, с обычным именем Наташа. Мир, в котором живут герои романа — без телевизора, с отключенным радио. Мир, куда долетают лишь отголоски великих событий, бушующих в стране. Все, что им нужно — это любовь, музыка и живопись. Один строй рушится и сменяется другим за их окнами, весна сменяется зимой, талоны коммерческими ларьками, а их волнуют только несколько извечных вопросов: смысл жизни, любит-не любит, гений и злодейство и есть ли жизнь на Марсе.

Автор

*Я скажу тебе с последней прямоотой:  
Все — лишь бредни, шерри-бренди,  
ангел мой.*

О. Мандельштам

### ГЛАВА 74. 5 курс.

Это чудесное ощущение — утро в Зоне.

Стоп! Стоп! дорогие мои! Зона — не в смысле «место отбывания заключения». «Зона» в том смысле, в каком это слово используется в знаменитом «Сталкере» Тарковского.

Город Z, Китеж-град, что там еще привести в пример? Так в фантастических фильмах просыпаются в никелированно-белых комнатах вечно юные космические рейнджеры. Они легко сбрасывают одеяло со смуглых, упругих тел. Опускают ноги на матовый светящийся пол. Задумываются, куда на этот раз закинул их какой-нибудь «Пожиратель пространства и времени» (причем брови сурово сдвигаются, а рот раздвигается в белоснежной, «мальчишеской» улыбке). Легко встают. Пружинистым шагом, в котором что-то все же выдает усталость и мудрость, подходят к иллюминатору окна. Бесшумно взвываются вверх блестящие жалюзи, и зеленое треугольное солнце затопляет комнату коварным мерцающим светом... «Это чудесное ощущение: утро в Зоне...» — думает Бро Дил...

И думаю я, ощущая свободу каждой клеточкой своего тела. Но не подумайте, что это только приятное чувство. Не подумайте, что я просто счастлива вырваться из-под опеки родительского дома. Все гораздо сложнее. Оказаться в Зоне пятого этажа третьего общежития — то же самое, что в небе, выпрыгнув из самолета. Здорово, правда? Лети себе. Если сможешь.

Хорошо еще, если ты захватил с собой парашют и не отказался от него перед прыжком, мол, «сам с усам».

А так твои бултыхания в небесах вполне могут закончиться падением.

Сквозь полусомкнутые ресницы я наблюдаю, как собирается на худграф Катя.

Движения ее быстры и точны. В считанные мгновения она облачает свою точную, толстенькую фигурку индианки в черные лосины, трикотажную песочного цвета юбку, горчичный объемный свитер. Сейчас выдернет из челки круглую расческу, которая у нее вместо бигуди и густо забрызжет новоиспеченное произведение искусства лаком, а потом сядет ждать, пока пройдут несколько оставшихся ненужными минут. Постучит в дверь ее подруга, похожая на дымковскую барышню Лена Копылова. Катенька встанет, наденет длинные, гладкие сапоги со шнуровкой сзади, очень пушистую меховую шапку с бомбошками, огромную енотовидную шубу и превратится в румяного нарядного пупсика. Пупсик вздохнет, скажет (или не скажет) на прощание: «Пока» и отчалит.

Каюсь: я позволяю себе многовато иронии по отношению к Катьке, я воспринимаю ее слишком с чувством юмора. А такое отношение, знаете ли, лучше иметь к одному человеку — себе самой.

Ну вот: теперь я полноправная хозяйка комнаты. К чему лицемерие? Большинство к пятому курсу, а то и раньше, предпочитает жить в одиночестве. Уживаться с кем-то, даже очень неплохим, даже прекрасным человеком — целое искусство, и усвоение его тяжело дается. А к пятому курсу, если отношения не сложились, как-то лень пытаться это исправить. Хочется просто покоя. Отчего-то сильно устаешь к концу учебы в «Зоне Пятого Этажа». И, наверное, от этой усталости становишься более рациональной. С большим удовольствием тратила бы силы на создание семьи, на родных, на друзей. Такой вот утилитарный, корыстный подходец. Но я пятый год здесь... Или двадцать три — это уже много? .. Или я просто неумело распределяю силы?... Или все мы дети загрязненной атмосферы?

Ладно, в конце концов, любая женщина не терпит второй хозяйки на кухне, особенно во время уборки, а я собираюсь заняться именно этим. Хотя предварительно необходимо хорошенько запаковать. Ибо в комнате царит ДУБАК.

Дубак — это очень, очень, уооочччень холодно. Так, что моментально можно заду- беть и даже дуба дать.

Для борьбы с Дубаком, кроме личного утепления, необходимо также включить: ре- фрижератор (как мы здесь называем реф- лектор, должно быть из чувства противоре- чия) и...

...Выходит утром на балкон Король Оран- жевое Лето! ...и Ля-ля-ля-ля-ля-ля шторм! И ля-ля-ля-ля-ураган! — весело заприпева- ло «Браво».

Я впрыгнула в черные лохмотья, бывшие когда-то джинсами-резинками и мохеровым пуловером, отыскала затурканные Катькой голубые тенниски. Подранные, зато с выши- тыми гербами. Аля-улю! Я готова!

Окинула взглядом комнату, полную по- лураспакованных вещей, и вприпрыжку помчалась по коридору. К Тате.

Солнце линовало зеленые стены и лило- вые двери. В моих прыжках было некоторое беспокойство. Ибо уже десять, и Натали могла слинять на факультет.

Однако на мой стук прошуршали по полу босые ножки, со скрипом распахну- лась сколоченная из разнокалиберных до- сок и фанеры дверь мастерской. И теплая, утренняя Тата заключила меня в свои объ- ятия.

— Муся моя! Муся приехала! — нежно и сонно пробормотала она.

Здесь солнце было полноправным хозя- ином. Вся мастерская залита его соломен- ным светом. То там то здесь вспыхивают ос- лепительные янтарные взрывы.

А сама Натали казалась статуэткой из прозрачного медового золота, завернутой в полосатый махровый халатик.

Через несколько минут мы были в пять- сот тринадцатой, где Наташка как бы жила.

## Глава 21.

Предметы и препода. Тагильская школа жи- вописи. И графики.

Это все надо расшифровать.

Обо всем этом надо написать.

Самые крутые препода. Самые классные предметы. Самая навороченная школа жи- вописи. И графики.

На нашем худграфе вообще не бывает непатриотов. Точнее, бывают, но их такое же незначительное количество, как патриот- тов у общеобразовательных школ и других факультетов. Худграф — место дислокации белых ворон. Конечно, бывают здесь и се- рые, но они — нумизматическая редкость, маскируются под белых, перекрашиваясь, а если занимают активную, отвергающую окружающий бедлам позицию — восприни- маются как клиника, и не иначе. Вот так вот, дорогие нормальные и обыкновенные люди.

Естественно, во все это я врубилась не сразу.

Первый курс — тоска по дому, ненависть к разноцветному тагильскому небу, чужим окнам-амбраурам (постоянное ощущение, что люди за ними не живут, а маются), пол- ное непонимание, чего хотят препода. Чем круто то, что делают твои соседи по классу, и чем плохо то, что делаешь ты?

Моя, соликамская, академическая шко- ла с филигранным и выверенным рисун- ком, реалистической, хотя несколько су- ховатой и грязноватой живописью (зато объем, пространство, фактура и прочие реал- ии вещественного мира на месте), мои «ли- тературные композиции»... Нет! Ну почему, спрашивается, Гурам, написавший в прошлом году гипс в натюрморте черной краской, не- рьяшливо зачеркавший, а не заштриховавший работу по рисунку, поступил еще тогда?

А эта привычка местных преподав край- не редко появляться на своих уроках? По- сле постоянного внимания и контроля, по- сле объяснений, вплоть до разжевывания материала преподавателями в художке — отлавливание в полете замечтавшегося Дроздечика. Как, жестоко ухмыляясь, хвата- ла я не понимающего, чего я к нему пристаю, Владимира Константиновича и волокла к своей работе, к исполнению его, как полага- ла я, обязанностей. Как растерянно и тяжело вздыхал он, помахивая пушистыми ресни- цами за тонким стеклом очков в золотистой оправе. Делая руками замысловатые пассы,

выстраивая все уменьшающиеся, порхаю- щие над моим натюрмортом композици- онные окошечки из пальцев, он мямлил, ничтоже сумняшеся: «... ну... если посмо- треть, то... здесь, нет, здесь... нет, здесь... есть красивые касания...попытка замеса... возможно...» — и, лишь почуяв ослабление моей хватки, внезапно исчезал. Я довольно удачно пародировала все это. И довольно жестоко. И довольно глупо.

Это именно я выскочила как-то в кори- дор за красавицей Дроздечик Станиславой Игоревной, женой злополучного, хотя очень талантливого и известного Дроздечика, и попросила ее забрать нас у мужа. Дело в том, что от заменявшей супруга на период болезни преподавательницы я вновь услы- шала знакомые и здоровые, на мой взгляд, слова: «пространство», «объем», «тепло- холодность», «насыщенность». И пусть и среди них много нового и непонятного, но я, черт побери, совсем не против учиться и познавать, помощи лишь жажду.

«Ну как вы, Наташа, так можете,» — тихо засмеялась Станислава Игоревна: у нее была манера говорить как бы сквозь зубы — очень своеобразная, — «Владимир Константинович, вообще-то, мой муж». Я все понимала — некорректно, бестактно, но «праведное» желание учиться именно у Станиславы уже «горело во мне», как певал Цой. И на втором курсе она таки «взяла» нас, чтобы вести до последнего. Наверное, не без ее стараний в «авангард» я все-таки потихоньку «всасываюсь».

Станислава Игоревна нереально краси- ва. Как эльфийка. Или как польская княжна. Она тонкая как стебелек или как бледный луч солнца, пробившийся сквозь тучи. При этом пышная грива длинных, светлых, вью- щихся волос. Она совсем молода, не больше тридцати с хвостиком, но на кудри ее словно накинута серебристая сеточка седины. Чер- ты лица тоже тонкие, будто вытравленные офортной иглой. Нежные губы и огромные бездонные глаза, меняющие цвет, словно озеро в лесу: от бирюзового до сизо-фиоле- тового или зеленого. И благородство в осан- ке, во всем облике. Княжна, ей-богу, княжна!

Признаться, порой я пялюсь на нее с не- приличным восхищением, тогда она смеет- ся и говорит: «Наташа, вы меня смущаете». «Вы когда-нибудь попозируете мне?» — безнадежно мечтаю я. Станислава смотрит на меня, прищурившись: «Из меня всегда делают такую уродку, Наташа. Но вам... я подумаю... может быть.»

Я представляю себе ее портрет: тонкая нить серебряной скани с загадочным зна- ком — все украшения, и черный-черный, древний и дремучий лес за спиной.

А Ветренка говорит: «Какая же она худ- денюшка! Наверное, Дроздечик, когда ее на ночь раздевает — плачет от жалости». Вот дурь!

Как ни странно, серьезнее всего к пре- подавательской деятельности относится Кипря. Людмила Киприяновна Андреева. Большинство ее не любит, не уважает; или не любит, но уважает; или вообще сложно к ней относится. Она педант. Нет, она — Пе- дант. Она достает страшно. Рисунок под ее руководством — математика. Если вдруг случается, что какой-либо нерадивый сту- дент промахивается с пропорциями милли- метра на полтора, она бледнеет, мужествен- но прижимает правую руку к левой стороне груди и произносит: «Спокойно, Андреева, спокойно...» Но я согласна с ней: перспек- тива — наука, и классика — хорошая точ- ка опоры, а без возможности оттолкнуться, творческие полеты — одно бессильное бул- тыхание.

Кипря — дама без возраста. Наверное, ей пятьдесят, или сорок, или шестьдесят. У нее черные, короткие прямые волосы, не- изменный коричневый костюм; когда она старательно выговаривает слова голосом, похожим на медь трубы, то очень активно двигает лицом и обнажает зубы. Смеется она еще более медно и громко, то ли как гу- сар, то ли как его, извините, лошадь.

Энергия из Кипри бьет ключом: правда, есть подозрения, что черпает она ее пол- ным ковшом из неокрепших студенческих организмов. «Валерия, в чем секрет вашей красоты и вечной молодости?!». «Она пьет нашу юную кровь», — тяжело качают

головами выжившие после зачетов по ДПИ, основному Киприному предмету.

Декоративно-прикладное искусство — само по себе создано для зануд: гобелен тебе, роспись городецкая или бумагопластика — везде нужно иметь нервы разведчика и пятую точку бюрократа. Методику этого предмета Киприяновна разработала сама. Можно сказать, жизнь на это положила. И, положила (опять-таки) руку на сердце, многим из нас потом эта методика ой как пригодилась. Но это потом, в необозримом будущем, а сейчас...

Зачеты по ДПИ длились сутками. Каждого студента мурыжили не меньше чем по часу. А ведь еще до этого необходимо было нашими корявыми, вечно трепещущими от переполняющих нас эмоций лапами живописцев накарябать десятки упражнений из палочек, точек и прочих фитюлек. Случалось, корпус закрывали, и внизу уже сидел суровый сторож, а несчастные все сдавали и сдавали. Говорили, порой нежно любящий Кипрю супруг ее приходил под окна и тихонько звал: «Люсенька! Люсенька! Пойдем домой!». «Не могу! Вернусь к утру!» — весело и непреклонно отвечивала ему в окно третьего этажа Кипря, и падали в обморок малохольные студентки, понимая, что пришел им полный и окончательный все.

И что интересно, чем дольше длилась процедура, чем бледнее и немощнее становились юнцы, тем активнее и бодрее подскакивала на своем стульчике наша старушка, тем ярче на щеках ее разливался румянец и тем более щедрой становилась она на оценки. Правда, и пятерки в таком случае воспринимались как надгробные венки. Отсюда легенды о вампирности Кипри. Отсюда нелюбовь и страх.

Хуже Кипри была только Фласдунга. Еще одна ДПИшница. Еще одна зануда. Но если Кипря была — зануда веселая, то эта еще и нагоняла тоску вечными стонами. Впрочем, некоторые ее любили, за сиропность. По мне: лицемерие одно. Впрочем, она еще показала себя потом во всей красе, во всей крысе то есть. Внешне она на Андрееву (Ки-

прю) совсем не похожа: мягкая, розовая, пушистая, но ... жутко холодная. По большому счету ей на нас было глубоко наплевать и на предмет тоже. Самолюбие у нее, конечно, то еще: она сразу вычленяла «способных» к своим вышивкам, гобеленчикам и макраменчикам, а остальные становились ей как-то побоку. Моя учительская натура этого не принимала: для нормального учителя все равны, по крайней мере, как ученики. Делить на перспективных и неперспективных — фи. Непрофессионально.

Самые приколы начинались, когда две зануды принимали экзамены вместе: тут уж, похоже, основной литраж крови Киприяновна выпивала из Фласдунги. Прелесть такая. Стоило начать Фласдунге кого-нибудь валить, Кипря тут же находила в его работах и ответе скрытые прежде достоинства; стоило той, напротив, обласкать кого-то, и Андреева, радостно сверкая глазами, начинала чехвостить несчастного и в хвост и гриву. Фласдунга закинула и начинала медленно стекать по стулу на пол, Кипря же откровенно веселилась. Меня Фласдунга не любила. Так что, несмотря на отсутствие особой теплоты ко мне и со стороны ее напарницы, я все сдала в свое время без особых потерь. А потом и еще раз это чудесное противостояние меня выручило. Будь наши зануды заодно — психушка и кладбище пополнялись бы худграфовцами в десятки раз активнее, чем в настоящем.

На втором курсе, как по живописи Дроздечика сменила Дроздечикова, так по рисунку Киприяновну сменил Антониони. «Силен, как лев. Красив, как бог» — как пелось в песенке более поздних времен. Впрочем, Антониони и красив тоже был как лев. Откинута от лба грива густых волос, обаятельная усмешка в усы, глаза с поволокой. Говорят, последние три из его четырех жен — студентки нашего факультета. Однако, слухи к нему, на мой взгляд, не липнут — благороден, опять же, как царь зверей. Он всегда умерен, величав, невозмутим, и всегда с легкой этой усмешечкой. Один раз, застав, входя в класс, обрывок нашего разговора о деньгах, он чудно поставлен-

ным голосом продекларировал: «Где деньги есть — там нет искусства, где есть любовь — прольется кровь!». Во как!

Еще он зав заочным отделением.

Скульптуру ведет Крамской. Ему уже, должно быть, седьмой или восьмой десяток. Он из поколения художников и ученых в длинных пальто, бабочках на шее и широкополых шляпах, с зачесанными назад удлиненными волосами, что пели, вальяжно расположившись вокруг рояля, в компании Любви Орловой «Бегут ручьи, поют грачи...». Сейчас он при ходьбе опирается на костыль и трость, посадив здоровье на ваянии рабочих и колхозниц с мускулистами бодрими улыбками. Хотя, скорее всего, костыли — результат ранения на войне. Говорят, во времена оны он срывал этим костылем со стен работы авангардистов на просмотрах. Ко времени моей учебы времена оны прошли. Так как большая часть времени на его уроках проходила для меня в бесплодных попытках оторвать от куска пластилина кусок поменьше, Крамским я не замечалась. Так что ничего больше я о нем рассказать не могу.

Еще есть два брата Толмачевых. Они похожи, только во внешности одного больше специй. По-моему, на факультете они откровенно валяют дурака. Что не помешало одному из них в данный момент стать деканом. Мне чудится, заходя по утрам в свой кабинет, он со вкусом закуривает, забросив длинные ноги на стол и подолгу хихикает: вот ведь приколы: я — декан. Вели они всякие Хэ О: художественное оформление школы, художественную обработку металла, художественную обработку керамики, камня и прочей байдды. Рыжие, длинные, слегка бородатые и хитроглазые.

Раньше деканом был Валентин Юрьевич Рейде. Лучший декан в мире, потому что худграф при нем жил, как хотел и потому, что на моем официальном посвящении в студенты, произошедшем в свое время в драмтеатре, он вышел на сцену с гитарой в компании с тремя старшекурсниками и спел частушки про институт. Довольно рискованные, в смысле общеинститутской политики.

Валентин Юрьевич занимался офортом, что вкупе с должностью, неуклонно и очень наглядно разрушало его здоровье. Хрупкий, изящный, с пышной шевелюрой, он на глазах терял свою веселость, зубы и волосы; руки приобрели привычку трястись, а глаза — красные прожилки. За три года руководства худграфом и интенсивного травления он пережил два инфаркта. В конце концов, получив обещанную квартиру, ради которой, по слухам, и пошел на руководящую работу, он начальствовать бросил. К сожалению, вернуть так просто здоровье было уже невозможно. И когда он начал вести у нас факультативные занятия по рисунку, то был уже раздражителен, к нам равнодушен и совсем не жизнерадостен.

## Глава 22.

Чтобы еще лучше представилось, что такое Нижнетагильский худграф, стоит рассказать, как тут проходит посвящение в студенты. Тот еще обряд — скажу я вам. Причем, его глубокий сакральный смысл не до каждого, прошедшего процедуру, доходит сразу. Мне, например, понадобились все эти два с половиной года, чтобы пересмотреть мнение на его счет. А тогда, на первом курсе...

...Хорошо, что нашлись добренькие люди, посоветовавшие нам особо не разряжаться, а обзавестись рабочим халатом, старым трико и полиэтиленовым пакетом (на голову). Обеспокоенные уже этим, в назначенное время мы, первокурсники, робко клубились на первом этаже, у подножья высокой, в классическом стиле лестницы, ведущей на второй и третий этажи особнячка, в котором, собственно, и размещался факультет. Между лестницей и нами возвышалась огромная двустворчатая дверь. За дверью было темно, посверкивали огни, что-то лилось, хихикали. Напряжение нарастало и все уже близко были к истерике, когда створки распахнулись, и несколько цепких рук выхватили из вмиг отшатнувшейся толпы тех смельчаков, что стояли ближе всего и даже пытались заглянуть в щелки. Дверь тут же сомкнулась, и

тишина за нею взорвалась визгом и воплями посвящаемых и демоническим хохотом старшекурсников.

Наши ряды расслоились: на тех, что с восторгом ринулись внутрь, навстречу пугающей неизвестности; и тех, кто потерял желание попасть туда окончательно. Я — во второй категории. Больше всего хочу вернуться в раздевалку и уйти. Удерживает то ли постыдный стадный инстинкт, то ли боязнь пропустить что-то такое, из-за чего потом будет «бесконечно обидно и стыдно за бесцельно прожитые годы». А момент истины близится: толпа перед дверью тает. Но ведь и энтузиазм посвящающих должен потихоньку исчерпываться? По крайней мере, ничьи руки уже не возникают из черноты и не хватают зазевавшихся.

Я опускаю забрало полиэтиленового пакета, и, стараясь быть незаметной, просачиваюсь внутрь.

Сквозь пакет все видится расплывчато и неясно: перила, стены и лестницы залиты и забрызганы чем-то темным и липким: ну не кровью же... Похоже, краску на бедные головы первокурсников тут лили прямо из ведер. На втором этаже пятна то ли свечей, то ли факелов расцветивают сумерки коридора; слева и справа мелькают неясные тени; безумный хохот, жалкий протестующий писк. Повинуясь душевному порыву, я в мгновение ока приземляюсь на четвереньки и забиваюсь в угол; тут же прямо над моей головой раздается хищный шепот: «Здесь только что был первокурсник! Ищите! Он не мог далеко уйти!». И дробный перестук шагов мимо меня: вниз по лестнице и в темноту коридора. Волосы под полиэтиленом на голове встали дыбом. Как была на четвереньках, я принялась отступать по коридору к задней лестнице.

На задней лестнице тихо, где-то внизу, у входа в подвал светит желтым одинокая лампочка. Но, к сожалению, здесь я не одна: между вторым и третьим, устало навалившись на перила, курит Наташка Жуланова с какого-то из старших курсов, я еще толком в них не разбираюсь. Она улыбается мне сочувственно:

— Что, достали? Зверствуют наши? Вот я тоже думаю, что чересчур все это... А ты пройди сразу в зал, через третий этаж... — затушив сигарету, старшекурсница прицельным щелчком отправляет окурок в темноту лестничного пролета.

Облегченно вздохнув, наивная и доверчивая, всем сердцем потянувшаяся навстречу Жулановой, я поднимаюсь поближе, и коварная Наташка, вцепившись в пакет на моей голове, разрывает его, другой рукой размазывая мне по лицу черную краску (вот почему она прятала руку за спину!).

— Так-то лучше! — смеется злодейка и уносится по ступенькам вниз, оставляя меня с разбитым вероломством и жестокостью людей сердцем.

Естественно и прочая информация оказывается неверной: задняя дверь на третий заперта. Обреченно ползу обратно к основному входу, робко надеясь, что все уже закончилось.

Однако на верхнем, самом последнем, круге ада веселье еще в самом разгаре. Коридор до самого входа в актовый зал завален раскоряченными мольбертами. Первокурсников хватают, и весь путь до конечного пункта путешествия они должны проделывать ползком под фанерой и рейками, по которым, к тому же, сверху колотят что есть сил вдохновенные старшаки. Но сперва их запикивают в «комнату... сэкса!». Что там происходит, узнать мне, слава богу, не пришлось, так как вылетевшая оттуда вся всклокоченная и красная Поповская орет мне диким голосом: «Наташка! Тебе туда нельзя!!!».

И тут я попадаю на глаза тому, кто гигантскими руками сгребает несчастных жертв и охалками бросает сначала в страшную «Комнату сэкса», а побывавших там — под мольберты. Это Паша Лесков — огромный, больше, наверное, двух метров ростом, пятикурсник чудовищной красоты. Правда, сейчас красоты не видно: прекрасное лицо Паши скрыто натянутой на голову жуткой маской Кинг-Конга. (Многие женщины, конечно, поспорили бы со мной насчет красоты, так как обнажен зато обалденный Пашин

торс, лоснящийся и мускулистый, да и узкие бедра, и длинные сильные ноги в обтягивающих джинсах, наверное, эффектны. Но мне, почти потерявшей сознание от ужаса, не до оценивающих взглядов). Я завизжала бы, если б в ту пору не сидел глубоко в моем подсознании принцип — не визжать, поэтому я только дико вылупила глазки и вцепилась скрючившимися пальцами в первое, что попало под руку.

Под руки подвернулись нога, и еще какие-то немаловажные анатомические подробности стоящего тут же на небольшом возвышении Пашиного гипсового двойника — Аполлона Бельведерского. Паша схватил меня огромными ручищами и дернул, я еще крепче впилась в подробности. Пашу под маской перекосило от сочувствия к античному образцу, и глаза его в прорезях вспыхнули алым. Он дернул сильнее — Аполлон покачнулся и начал медленно валиться на нас. Лесков рыкнул и выпустил меня, принимая в объятья тяжеленного гипсового бога. Пытаясь вернуть скульптуре прежнее положение, он сквозь зубы велел мне убираться и не портить людям праздник, если у меня проблемы с чувством юмора.

Чувствуя себя побитой и оплеванной, глотая перемешанные с краской слезы, я поплелась вниз по лестнице. С моей точки зрения, проблемы с чувством юмора были у всех остальных. А у меня с чувством собственного достоинства.

Внизу, одинокой и заброшенной, мне стало себя еще жалче, и я зарыдала от всей души. Отставной военный, работавший на художественном сторожем, не сумел вынести моих слез и позволил позвонить домой. Хлюпая в трубку, я просила забрать меня из этого вертепа, сетуя, что, очевидно, художник не для меня. Зная мою горячность, домашние просили меня подумать и не спешить с выводами, впрочем, к концу разговора я и сама уже подостыла, и в мозгу моем начали выкристаллизовываться планы, не мести, конечно, а изменения местных традиций, привития культуры и борьбы с пошлостью.

Черновые наброски своего «манифеста» я тут же внизу у зеркала в течение получаса

втирала пьяной в уматинушку Янке Киене со второго курса. Та с жаром и пылом сочувствовала мне и обещала всяческую поддержку и помощь. Только вот, несмотря на несомненную Янкину искренность, не было отчего-то у меня уверенности, что сама она часом раньше не участвовала в чудесной процедуре посвящения.

Вообще, парадокс: кого бы мы потом ни спрашивали из старшаков — всем жутко все не нравилось, все были против. Но кто же тогда «нес с Лениным бревно», в смысле: мазал, хватал, танцевал полуголым, раздевал до полуголости, засовывал под мольберты?

Кстати, в конце пути ползком (в результате которого у бедной Анюты в синяках были все ноги и локти), оглушенного и очумевшего, грязного, взлохмаченного первокурсника за волосы вытаскивали в зал и мазали вареньем. А там, удобно устроившись в креслах, в смокингах и вечерних нарядах с декольте сидел весь прочий художник и со снисходительными усмешечками, так сказать, «принимал в свои ряды». Б-р-р.

Нюте, правда, удалось отомстить за боль и унижение. Увидев свет в конце тоннеля, она подалась было вперед, но тут заметила, что на свет божий «новорожденных» вытаскивает нежно любимый ею Бушмакин. А она, как говорится, не комильфо: причесочка там растрепалась, туда-сюда. И Нюта резко подала назад. Бушмакин же наоборот попытался выдернуть симпатичную ему первокурсницу поскорее. Нюта замахала ручонками, сопротивляясь, и пухлым кулачком совершенно случайно, но с размаху, попала как раз туда, куда не надо бы. Андрей смертельно побледнел, и укоризненно прошептал: «Зачем же так, Анята», отошел в сторонку.

Планы свои изменения процедуры посвящения в студенты я так и не осуществила, хотя был момент, когда мы с эРом и пытались сдвинуть процесс в сторону большей культуры и меньшего унижения личности. Какое-то такое придумывали, грандиозное, красивое и смешное, только плюнули потом. В конце концов, что-то в этом языческом

буйстве есть: катарсис какой-то, смывание «кровью» ханжества и самодовольства, одним мирром помазание. После такого не особенно-то будешь ходить и пофыркивать, посматривая, как твои однокашники осуществляют перформансы и подобные тому странные вещи...

К тому же, со стороны все воспринимается как-то иначе, что ли, а со временем и вовсе начинаешь делиться воспоминаниями, улыбаясь от гордости за родной факультет.

В этом году, зайдя во время посвящения в женский туалет, где очередные первокурсницы мыли под струей холодной воды из-под крана оранжево-зеленые волосы и снимали насквозь пропитавшееся краской нижнее белье, чтобы просто выбросить его, пришедшее в негодность, в мусорное ведро, я с улыбкой пожимаю плечами: я вас не мажала, и сторонюсь летящих брызг и злобных взглядов. Ну а что делать? Традиции у нас такие. Зато не как у всех.

## Глава 2.

Было время: на худграфе учились Мужчины. Они приходили туда после армии с суровыми лицами, обветренными сухими ветрами солдатских дорог; мозолистыми руками, закаченными в процессе полировки кирзы. Они беспробудно пили. И еще больше вкалывали. На свое ведро водки и экзотическую закуску они зарабатывали халтурами или разгрузкой вагонов. Мамы и папы их не бегали еженедельно на телеграф, отсылая детке переводом последнее, нажитое непомерным трудом. Они (Мужчины) не пропускали ни одной приличной выставки или театральной постановки, будь та хоть в Москве, хоть в Конотопе, добираясь до пункта назначения в общем вагоне на третьей полке. Но главное — как они вкалывали!

Худграфовские мужчины никогда не пропускали спецы, и не только спецы. А через пять минут после окончания пар — они уже рисуют в общаге, а ночью — в мастерских на Карла Маркса и одновременно их видят копирующими в музее, пленяющими

за городом и встречающими на вокзале ленинградского профессора.

И еще. Их боялась даже Кушва, не говоря уже о жалких ПТУшниках, УПИшниках и ИПФниках. У Мужчин ХГФ были тяжелые руки скульпторов, которыми они легко и с желанием вносили изменения, как в портреты отдельных личностей, так и в групповые композиции.

Времена эти, увы, ушли в прошлое ко времени моего появления на ХГФ. Я лишь удостоилась счастья краем глаза углядеть удаляющиеся широкие спины последних из могикан — пятого курса. Мимо скользнули их огромные полотна, суровые сосредоточенные лица и тяжелый аромат портвейна. Скользнули и растаяли. А на худграфе отныне учились Мальчики...

Мы сидели на подоконнике в конце коридора и рассуждали о времени худграфовских Мужчин. Только что мимо нас в плачевном состоянии были пронесены три жертвы одного (!) ИПФовца и одной (!) бутылки спиртного. И это цвет нашего факультета!

Особенно позорно, что даже не вспотевший в процессе «избиения младенцев» ИПФовец поднял оставленные на поле брани ретировавшимися Максом, Костей и Ильей очки и книжку («символы интеллигентности») и очень мило попросил присутствовавших при том наших девчонок передать потерпевшим «забытые» вещи.

Мое возмущение подогревалось также энергией разложения зародившейся на днях симпатии к Илюше Устюженко. Это была такая маленькая симпатия, что ее существованию и развитию угрожали даже незначительные сквозняки. Например, догадка, что с возрастом немного припухлое и нежное лицо предмета увлечения, скорее всего, издрябнет и обвиснет, а пепельные локоны поредеют. Что же говорить о подобном падении?

Правда, даже будучи столь кратковременным, мой горячий интерес к вечному спутнику и другу звезды первого курса ХГФ Костика Кошкина не остался бесследным — я «грокнула» металл. В смысле, тот, который Metall. Heavy.

Моя тогдашняя подружка и соседка Лелька Поповская воспылала желанием на дополнительном занятии по живописи написать Костика. Я уже говорила, что тот был звездой первого курса, однако на самом деле популярность его простиралась гораздо шире, можно сказать: не было такого девичьего сердца, куда она не простиралась. Эх, Шишкину еще бы тазобедренную часть организма поподжарее! Впрочем, мы собирались писать погрудный этюд.

Костик отказался и перевел стрелки на друга, который, к моему восторгу, согласился. Но при условии, что придет с магнитофоном, и будет слушать музыку вышеуказанного направления.

Что ж — решили мы — в естественных условиях даже лучше для выразительности.

Гремел рок. Я жадно впитывала бледное лицо, «обрамленное локонами», пропускала его в руки, в краску и на новенький (для такого дела не жалко) холстик. А вместе с лицом поглощала стук, лязг и грохот, сотрясающие стены нашего старого особняка. Мои внутренности перемалывались в огромной бетономешалке и, не без методичности, вдальбывались в грунт. Когда мозги уплотнились в район коленей, я ощутила, что голова легка, как наполненный водородом летучий шарик, и готова улететь сразу во все окна класса. «Ага, — подумала я. — В этом соль».

Так я грокнула рок. За что Илюше спасибо. И до свиданья...

Эти потаенные течения мысли, естественно, остались в недрах меня, беседа плавно развивалась в русле широких обобщений, не переходя на личности. Это позволило без напряжения присоединиться к нашей компании и Димочке Глухову, и Жене Хабровичу с гитарой.

Основной недостаток Жени Хабровича, героя знаменитого худграфовского хита «Хабарь — хабарь-хабаринка», раскрывается в притче: «Была у Ж.Х. мечта. Вот выйдет он однажды на улицу, а люди скажут: «Смотрите! Смотрите! Ж.Х. идет!». Вот такая мечта. В остальном же Женя приятен. Он не выше среднего роста, зато, как бывший гимнаст, прекрасно сложен и гибок, у него

обманчиво романтические черты лица и великолепные густые темные волосы. К тому же Женя чудно играет на гитаре. Не на трех аккордах, как многие, а по нотам. Он долго и упорно разучивает какую-нибудь композицию, зато потом весь этаж так же долго и упорно наслаждается «Золотым городом» БГ или старинной испанской песенкой.

Этим, собственно говоря, мы и занимались между всплесками эмоций. Немаловажно, что Димочка и Ж.Х. — соседи, плюс соседи окну, на котором мы расположились. Кроме них, в комнате 501 проживали: четверокурсник Александр Тищенко, по прозвищу «Шурик-фарик», мой одноклассник Макс Мазжерин и первокурсник Гушлян. Чтобы объяснить, почему Гушлян, надо вернуться к рассказу о Димке.

...Некоторые молодые люди в студенческом общежитии имеют отвратительнейшую привычку прикармливать. Или сразу к нескольким комнатам или к одной. Одни для достижения этой цели используют профессиональные знания и навыки; другие — к месту приделанные руки, в которых ладно сидят молоток и пассатижи; третьи — нескончаемые запасы анекдотов; четвертые — красивые глаза или щенячий преданный взгляд и неухоженный вид; пятые, увы и ах, покупают свою порцию пельменей подобно представительницам древнейшей профессии. Причем некоторые специалисты способны годами разыгрывать Ромео, хотя вместо сердца страстью пылают их желудок. Бывает: пройдут года, отшумит выпускной, а прикармлившаяся особь мужского пола так и следует по жизни, как на веревочке, за Танечкой, или Катькой, или Ольгой, ну, словом, той, что покормит. Машинально женится, заводит детей, и умирает счастливой или несчастливой, по вкусу.

Димочка Глухов прикармлился как друг семьи. Мы тогда жили дружно, впятером, всем блоком. Так и ели. Где пятеро, там и шестеро. Все равно всегда голодные. Однако, мы уже подумывали намекнуть Димкиной маме, чтобы привезенные продукты она не тащила до конца коридора, а заносила напрямик, с лестницы, в 507.

Именно тогда, в самом конце ноября, Димка тайком начал влюбляться в Светку Менчакову, новенькую в нашей группе. Светке очень шло ее имя: маленькая стройная блондинка с «конским» хвостом от затылка до пониже спины. У нее был чудесной сладости четырехлетний сын Данил, которого все звали Динька. Он действительно своим нежным звонким голоском и хрупкостью напоминал колокольчик. Приходя с мамой на худграф, Динька всех мужчин называл Димами. Светка, смущаясь, объясняла это тем, что у Диньки в группе детсада есть друг Дима. Очень хороший друг. Как оказалось потом, в это объяснение верила я одна.

— Ты что это, Димыч, мрачный такой?

Димка сидит на полу в моей комнате, спиной опершись о дверь и разметав по ней т.о. кудри, а закаченные смуглые руки уложив на колени в пятнах десантниковских штанов.

— У Светки Менчаковой сегодня день рождения, а группа ее не поздравила. Как-то не очень получилось...

Да. Как-то не очень. Терпеть не могу подобных ситуаций. День рождения, а девчонка, еще и одинокая мать, сидит всеми позабытая, тоскует. Я оглядела скудость комнаты — дарить было нечего. Так. Шляя уже попала мне под хвост. Мое хобби — находить выход из безвыходных несправедливостей. И предаюсь я ему с бешеным азартом.

— А сколько натикало?

— Полседьмого. Я тоже думал слетать в город за тортом. Так полчаса до закрытия.

— И что нить? Полчаса! Одевайся! Успеем!

Димка радостно встрепенулся. Вскочил. И мгновение спустя мы отчаянно махали попуткам, подпрыгивая от возбуждения. Тетя в хлебном уже закрыла дверь, но еще делала что-то за стеклом, в желтом сиропе непогашенного электричества. Мы, почти без надежды, замолотили в окно, умоляюще заламывая руки. И, о чудо, вот он — тортик! С пристроившимися на халяву Поповской и Женькой Карагозиной мы уже вкушаем его в уютной, пропахшей ребенком комнате

Светки, удивляясь на Димку, который увлеченно ползает на карачках вместе с Данилкой среди груды кубиков и машин. На лице его нежное и сосредоточенное выражение, характерное для молодых отцов. «Димуля! Ты здесь как влитой!», — хихикают дамы.

Зачем я об этом? Да собственно, ради незначительного эпизода. Влетая за Димкой в 501, трехместку, я киваю высокому первокурснику в красной майке, перочинным ножом сложившемуся за столом над конспектами: «Здравствуй». Он радостно вскидывает навстречу вниманию старшекурсницы лягушачьи зеленые глаза, и вдруг со счастливой улыбкой передразнивает мою картавость: «Здлрлавствуй».

Та-ак. Оно еще и говорящее. Я торможу, выбивая искры из каблучков, и, разворачиваясь, говорю холодным тоном учительницы, осаживающей зарвавшегося малолетку: «Молодой человек, похоже, вы зря тратите время в нашем институте — губите свой талант логопеда. Вы умудрились найти в моей речи столько дефектов, сколько в ней и нет. Вам стоит серьезно подумать над профориентацией». «Молодой человек» в совершенном восторге от моей объемной, хотя и не очень изящной сентенции. Еще бы — первый курс от всего в восторге. Но хлопывая дверь, я слышу сдавленный шепот: «Умудрлились»... «Припомню,» — возмущенно решаю я. (Кстати, я не упоминала, что картавлю? Правда, многие говорят, что это у меня выходит очень по-французски и даже заразительно.)

Я «припоминаю» на ХГФе, в коридоре, при стечении народа, когда длинный с белобрысой челкой робко кивает мне, намекая на знакомство. Я улыбаюсь в зеркало и громко, во всеуслышанье здороваюсь: «А, Гушлян, Шляфстфуй».

Возможно, это и неостроумно, но лицо и шея первокурсника становятся дополнительного к глазам цвета.

А сейчас этот длинный Гушлян выползает на звук гитары из 501 и даже берет ее из уставших рук Хабровича. О! Нет!!!.. Да! Да! Он гнусавит с южным акцентом, неумело тренькая по струнам: «Послушайте короткий

мой рассказ...» Куда же ты, Женечка, забери у этого кавказца гитару, будь милосерден! То, как и что он поет — ужасно!

## Глава 8.

Суженый ты мой, гаданый. Король ты мой бубновый. Ромбик красный.

Незадолго до описанных событий сидела я верным шутком у ложа султаншей развалившейся Ланы. Дело было в бывшей Почечуниной двухместке со шторами из свернутых фантиков (помимо общажных жутко-крапчатых с желтыми кленовыми пятерьнями); обилием веников икебаны из борщевика; дверью, оклеенной эмэлами и магнами; и, похоже, со времен самой Саньки не потревоженной заповедной пылью.

Эксодром, занимаемый обильным телом рубенсовской Венеры нашего курса, спинкой имел переднюю часть рояля (без клавиш), утянутую с инструмента в давнюю пору его расположения в рекреации первого этажа. Когда-то он делал незабываемо романтичными наши вечера. В потоках лунного света Окся Кличко извлекала из раздолбанных недр полированного чудовища небесные звуки, бередившие душу, а мы тянули дискантами: «Над землей бушуют травы...»

Я читала Ланке свой роман «Радуга для оруженосца» — нечто переполненное включениями до отрыжки, плод моей неудовлетворенной любви к романтике и Саше Ш. Сей труд и сия любовь (я имею в виду чувства ко второму предмету, а не к первому) не так давно нашли безвременный, в смысле, припозднившийся, конец.

Известно, что и первая Love, и первое пухлое юношеское сочинение обычно обречены на гибель и забвенье. Однако прежде чем убедиться в том, что его труд — всего лишь то самое, раннее, незрелое, юношеское, распухшее и принадлежащее камину, долго терзается автор бессовестным стремлением найти своего читателя, а лучше слушателя (для наглядности эмоциональной отдачи). Как еще Пушкин А.Сэ. (О!) говори-

вал: зажму, говорит, в углу, душу стихами. И уж если классику трудно было найти отзывчивую душу на роль первого ценителя бессмертных творений, то каково простым смертным обладателям двухтомных дерзотерзо-борзописей.

А Лана терпеливо сносила. Может, оттого, что лежала. А может, тренировалась слушать, намериваясь в будущем собирать у трона менестрелей с дифирамбами. А может, из-за моего благодарного щенячьего взгляда.

И даже благосклонно предложила погадать. А я согласилась. Пока любила Сашу — боялась. Вся 513, наверное, помнит мой вой в ванной, после заявления чертика, что я выйду замуж за студента-медика, вместо студента-политехника. Даже Санькин летчик Гоша Ржевский послал боевую подругу по ее словам «утешить горюющую», что в действительности, возможно, звучало, как приказ обеспечить сносные условия для сна.

Но теперь терять мне было нечего. И почему бы не воспользоваться предложенным, тем более, что Лана все, что предлагала сама, делала очень хорошо.

Ассортимент предоставляемых ею услуг, кроме гадания, включал стрижку и макияж. А вообще то, что всегда удавалось Лане (если только она это делала исключительно ради собственного удовольствия, а не уступая настоятельным просьбам) называется стилистикой. Кстати, в случае излишней навязчивости клиент мог быть обезображен до смущения окружающих. Вообще, стричься у Беркута (фамилия у Ланки такая. Вот ее соседку по комнате Олю Дашко например все зовут Дашкой. Она крупная, пухленькая чернобривая брюнетка, и фамилия ей подходит гораздо больше, чем имя) — риск: пятьдесят на пятьдесят. Либо — лучше некуда, либо — хуже некуда. Но я (как обычно) отвлеклась.

Собственно, к прогнозам на будущее я мало прислушивалась. Блаженно покачивалась на волнах ощущения, какое бывает у кошки, когда ей щекоцут за ушами, и лишь улыбкой ответила на замечание Ланы, что помимо нечаянной любви с нечаянным

королем с поздней дороги, выпала еще карта, про которую, когда б речь шла не обо мне, моя гадалка сказала бы: «любовная постель». Но т.к. моя репутация в этом отношении известна — карта означает, очевидно что-то другое, или же выпала случайно.

Потом было еще гадание в 509 у Алки Ляпустиной. И опять: дорога, нечаянный король, лямур...

И о том, и о другом я вспомнила лишь сейчас, когда в убранной после «шумного бала» комнате Нюта с Лелей гадают. То мне, то Руслану. Хихикают, подталкивают друг друга.

И я могу не смотреть и не слушать, зная, что смеясь над нами, карты, как у злополучной Кармен, будут складываться и складываться в одну и ту же комбинацию.

А подбадривающее нас с эРом хихикающие все разрастается, разъедает потолок и стены, и, кажется, хихикают звезды, трясется «приколовшееся» небо, и весь мир расплывается по швам. А в прорехи смотрит что-то огромное, внимательное и не улыбочное.

Ты, зажав руки коленями, стучишь об стол лбом, приговаривая из детского анекдота:

«Сиди, я сам открою».

Взглянешь на карты, и опять стукаешься лбом.

Когда уходишь, девчонки возбужденно и весело тормозат меня: «Наташка! Наташка! Это любовь! Вот это класс! Ну чего ты такая! Ведь это — точно любовь!»

А я ложусь на кровать и прижимаюсь лбом к стене. Я думаю: неужели?

Неужели?... В моем мозгу бесшумно взрываются звездами мириады нервных клеток, аннигилируют; картинка мира разъедается черными дырами, из которых сквозит так, что сонмища Вселенных то выбрасывает наружу, то всасывает внутрь безмерное неведомое. Я чувствую бешеное движение пространств и времен, создающее ветер, не сравнимый по мощи со всеми ураганами и тайфунами вместе взятыми — от него шумит в ушах. И я, слабая, сбита с ног этим коловоротом, пытаюсь поднять глаза вверх, к какому-то новому солнцу,

слегка припекающему мне макушку. И мне страшно: ведь снова надо будет улыбаться и верить. А растянутся ли в улыбке отвыкшие от такого упражнения губы, и не глупой ли, не уродливой ли она получится?

И еще... Неужели это то самое солнце, свет которого вечен? Или мое новорожденное, оно проживет совсем недолго, как дерево у Цоя? Или вдруг... это и не солнце?

И я рыдаю, впитывая щеками жаркие оплеухи лучей новой надежды. Рыдаю, покоряясь.

Лелька жмет плечами, не сумев утешить. А я знаю: «Мое солнце, может, не проживет и года»...

## Глава 9.

Я — человек прямой.

Малосимпатичная фраза, да?

Только, знаете, мой жизненный опыт (какой уж есть) доказывает, что в вопросах любви — самое лучшее — прямота, ясность, честность. Возможно, не для всех, но для меня почти наверняка.

Я пришла с ХГФ. Сажу на окне. Смотрю на часы. Это означает, что голову свою я уже почти потеряла. А не покинула она своего места окончательно и не покатила колесом по коридору в сторону 501 комнаты только оттого, что полуразбитая параличом минутная стрелка еще не доковыляла до роковой отметки, возвещающей об окончании четвертой пары. А ведь сессия на носу.

Короче: пока планета еще жива, пока о солнце мечтают весны...

*Тари-та-та-там. Тари-та-та.*

*Пока не поздно. Пока не поздно.*

Я села за стол.

*Рядом, рядом радость и беда.*

*Надо. Надо твердый дать ответ.*

А вот и ты. Стучишь в дверь. Головой. То ли оригинальничаешь, то ли тоже пытаешься приколотить на место съезжающую крышу.

Нет, конечно, можно оставить все так как есть...

Я говорю: присядь. Говорю, что все хорошо, но я так не умею. Говорю, что полу-

чается все снова, да ладом. Говорю, что если между нами — просто дружба, то можно обойтись и без нее. Лишняя боль ни к чему ни мне, ни тебе, ни Соне (это та, твоя девушка-ка-женщина дома.)

Я ведь могу опять понять тебя неправильно.

Я могу влюбиться, Руслан.

А ты ведь знаешь, я к этому серьезно (возможно, слишком) отношусь.

Мы сидим, сомкнув руки на холодном голубом пластике столешницы. Столешница протекает между нами безмятежной прохладной рекой. Так тихо и ясно все. И если любовь, вернись, и я буду знать, что тебе нужна именно я. А если нет — пусть это прекрасное соприкосновение уносит голубая столешница.

Ты киваешь (к чему слова). Встаешь. И вот я уже одна. И, возможно, навсегда без тебя. Но кругом тишина и ясность. И река баюкает мои опустевшие руки.

\*\*\*

«Не виноватая я! Он сам пришел!» Я, в конце концов, не железная. Хотя, если со стороны, да с критическим прищуром: у него все основания отмазаться. Но любой, кто был влюблен, в меня камня не бросит. Сейчас-то я и сама скажу: пришел посмотреть предварительный просмотр. Что он? Обязан теперь всячески избегать попадания в места моего возможного пребывания? Но тогда я действительно думала так: обязан. И если не избежал, если замаячил в тот же вечер красной майкой в разношерстной ХГФской толпе, заполонившей рекреацию, то...то...

А предварительный просмотр — это Восточный Базар, который не раз удачно сравнивали с пестрым морем. Гомон, шум шагов, шелест пестрых охапок, деловито раскладываемых пред ясны очи мрачных преподавателей, столпами застывших в виде центров бурлящих воронок. Здесь и деловитые и одновременно трясущиеся в ожидании приговора «везучки», уже добившиеся высшего внимания; и подпрыгивающие с тоненьким

подвизгом: «А у меня...А у меня...»; и нетерпеливые, с кучами «бумаги» в руках, опоздавшие занять угол в тесноте рекреации. И те, и другие как продавцы перед покупателями. А вокруг уйма любопытных, в основном с младших курсов, шепчущих: «Классно...классно... я так не смогу...», но где-то внутри, самонадеянно: «...да ну, даже я так смогу...».

А преподаватели мрачны. Они не случайно, не ради чая покинули Парнасы. Не один уже жене или мужу своим перед сном вместо «люблю» мрачно пожаловался: «Чувствую, позорный будет просмотр. Ну, как всегда, эффективных пустышек наделал, а у меня и посмотреть не на что»...

И сейчас стоят, морщатся, не взглянут друг на друга. Это потом можно, внизу, у кого-нибудь в мастерской, по пиву, и послать этот просмотр, и этих студентов, и этот ХГФ. Ведь придут же времена, и галереи станут драться из-за наших картин, и не нужно будет зависеть от мизерной зарплаты и комнатки в общежитии. Гонорары, Слава, Воздух, Вино и Женщины. И черняшка бородинский...

Пожалуйста, большой позолоченный багет!

Вставьте в него эту минуту, эту мысль: «Нет, не случайно!...А-А-А-А!!!...». И дрожь от этой мысли.

На мой стол осыпаются лепестки белых пионов.

\*\*\*

На всю рекреацию растянуты шуршащие листы рулонной бумаги. Будь же вовек благословенно то, что и у преподавателей есть беспардонные знакомые, в своей вульгарной первобытной наивности полагающие, что для художника рисование — потребность естественная настолько же, насколько, миль пардон, в туалет сходить. Причем им, художникам, абсолютно не важно, что рисовать — лишь бы взять в руки кисточку. И ни есть, ни спать художникам не требуется, и ни детей у них, ни тараканов, ни продуктовых сеток, ни неметенных полов. До знакомых этого

типа худо-бедно доходит, что «знакомый» электрик может не захотеть копаться в их проводке, а «знакомая» швея не обязана обшивать их семью, потому что вкручивать лампочки или пришивать пуговицы они, бывало, пробовали и понимают, что не баловство это и не удовольствие. Но рисование — это же другое дело!

Так что едва внучатый племянник собирается жениться и встает необходимость изготовления стандартно-скабрёзных плакатов; или надвигается один из всенародных праздников и нужно небольшой самодеятельной открыткой в полстены поздравить коллег по конторе — тут же вспоминают соседей по парте, дому, больничной койке, которые что-то где-то там мазюкают.

И если вдруг какая-нибудь особо чувствительная и воспитанная особь пискнет, что, мол, неудобно, на нее посмотрят как на глупую и с истовой убежденностью заверят, что «...он же Художник!». А значит ему, во-первых, «раз плюнуть» «набросать карандашиком», а, во-вторых, он будет только «дикоряд», и возможность нарисовать для друзей торчащие из-под одеяла голые пятки жениха и невесты для него — лишний повод с головой уйти в любимую деятельность.

Будь они, эти знакомые, короче... во-первых, благословенны. Иначе не видать нам с Анютой зачета по ДПИ. Потому что все эти задания «10X10», где во главе угла — противоестественные для живописцев и невозможные в ночные часы педантичность и аккуратность — урыли бы нас легко и им привычно. А так нас спас кто-то, напрягший Киприяновну декорациями к новогоднему детскому утреннику.

И вот лежим мы на полу рекреации на полосатом брюхе предусмотрительно принесенного матраца, греем пятки в шерстяных носках о зеленые ребра батареи. Поскрипывая, вращается пластинка, и мы рисуем Дедов Морозов, Снегурок, Снеговиков и еще, почему-то, Арапчат, Султанов и полуобнаженных восточных красавиц.

К скрипу пластинки по-семейному присоединяется сверчок и законные звезды, а к нам — выползшие на огонек, оступевшие

от сессии соседи. Ведутся тихие разговоры, чуть слышно бряцают гитары, курятся сигареты, съедается варенье. Иногда энергичные танцевальные мелодии срывают с места пару-тройку особо восприимчивых. Мелодия меняется, и вновь размеренно булькают в банках кисточки.

Работа ведется по методу покраски забора, разработанному Т. Сойером. Ненавязчиво, непринужденно. Естественность и теплота самовозникшей тусовки привлекает обитателей всего этажа. Ну и Эр, естественно, притягивается на огонек.

Тренькает на шестиструнке, с благодарностью принимает милостиво протянутую кисть, и, от старательности высунув язык, окрашивает розовые шальвары арапчонка. Осторожные его взгляды в сторону вашей покорной слуги тают в ее сердце маслом в горячей булочке.

Кстати: вот самый благословенный, пусть и всегда короткий, период в отношениях противоположных полов. Ничего еще не ясно, но обоим уже чудится, что гульки удары их сердца эхом отдаются в сердце второго. И теплые сияющие волны слегка оплавливают контуры реальности. Правда, растяните его — он повергнет вас в ад. И влюбленные, несмотря на очарованность, форсируют, форсируют...

## Глава 27.

Все так странно, странно, странно. Мы никто друг другу, и тем не менее ссоримся.

А сегодня наша соликамская тройка уезжает на Пасху, и тебя, видите ли, Оля попросила нести ее сумку.

Я не понимаю, почему ты будешь нести ее сумку? Почему не мою? Она вперед попросила.

Поезд уходит в двенадцатом часу ночи. С Кушвы добираться трудно, да и опасно. Вот нас и будут провожать: Аннушку — Кешка, Лельку — мой ты. А меня? А я сбоку припека.

Беру шинель. А пошли все... Точнее, а пошла-ка я. И иду-ка. Тормозит почти пустой межгород. Молчаливо открывает

двери. Я пристраиваюсь в мягкое кресло. Мимо плывут огни города, и метут мокрое небо метелки голых деревьев.

Когда на вокзале появляется группа товарищей, тебя среди них нет. Взвинченная Лелька, першая сама свою сумку, припечтывает меня презрительным взглядом:

— Он подумал, что ты пешком отправишься, и посвистел тебя догонять.

Меня волной окатывает раскаяние. На часах пятнадцать минут двенадцатого. До отправления поезда двадцать минут. Представляю себе: вот я бегу, на полдороги встречаю его, бежим вместе обратно... Что ж, мы успеем. Навесив на подруг свою сумку, я горохом скатываюсь со ступеней вокзала.

Мои желто-оранжевые сапоги моментально теряют свой цвет, маскируясь под раскраску грязной весенней ночи. Моя маленькая черная шляпка норовит слететь и вернуться к брошенным на попечение Нюты вещам. Дорога передо мной черна и пуста. Мне страшно. Но я же обидела тебя и не могу теперь уехать. И я бегу, шарахаясь от странных теней и странных собак, недобро сверкающих зубами в темноте. Бегу, потому что всегда была такой. Всегда многовато думала о том самом миге, что между прошлым и будущим. Сейчас. Только сейчас. Ничего не оставляя на неизвестное завтра. При взглядах на часы (когда вдруг редко-редко попадет горящий фонарь) — я холодею. Я бегу быстро, но минуты тоже движутся, хотя и, пытаясь мне помочь, тормозят изо всех сил.

Когда я вбегаю в общежитие, ничего не остается, кроме как сесть на коридорный подоконник. И сидя на нем, залитом синевой из-за окна и белым мертвенным светом лампы дневного освещения, я слушаю, как гудит мой поезд, минуя 365 километр, станцию электрички на Кушве. Как стучит он колесами к моему дому. И мне стыдно, но все это уже пустое.

Так я сижу, когда внизу, на первом этаже, хлопает дверь, ты устало поднимаешься на пятый, и останавливаешься, увидев меня. Как всегда, от смущения мне хочется захи-

хикать. Я и хихикаю, отвернувшись к стеклу, в котором вижу, как ты подходишь к своей двери, берешься за ручку, но потом, переудав все-таки, опускаешься на пол возле комнаты.

— Ко-ошмар... Ко-ошмар... — тянешь ты. — Я — на трамвай, по Кушве, перебудил всех собак. На вокзале ее нет. Я обратно. Думал: все — напали на козлика серые волки. Грабители, маньяки, хулиганы, упала, поскользнулась, ножки переломала. Вижу, что-то ползет — думаю — хана. Но хоть живая. Нет, не она — пьяный валяется...

Моя глупая ухмылка ползет шире. Зубы, как говорится, становятся здоровее и радостнее. Наконец мне удастся задавить ее.

— Пошли. Может, сумеешь хотя бы через Чусовскую уехать. На электричках.

Киваю. Думаю, что, может быть, он поедет со мной. По крайней мере, маме с вокзала позвоню, чтоб не переживала. Скажу просто — опоздала на поезд.

Странное это чувство, когда опоздаешь на поезд. Кажется — для тебя все закончилось. Можно подумать, когда задний вагон помашет тебе печально хвостиком, что-то страшное произошло с тобой. Ты опоздал на всю жизнь?

## ГЛАВА 20.

Начиналась весна. Коленкам под лайкрой становилось все теплее, и уже не так отчаянно и бесшабашно торчали обтянутые ею нижние конечности из-под пышных пуховиков. Ты то ли был у меня, то ли нет. Я купила ярко-оранжевый апельсин и неслала его в ярко-фиолетовой перчатке на вытянутой вперед руке. На мне извергала на сероватых прохожих свою неместную жизнерадостность легкая как пух, но очень теплая куртка «мечта чукчи». «Мечта чукчи» — потому что, чего только на ней нет — и меховая опушка, и сочно-фиолетовая опять-таки пелерина, и вышивка, и тесьма с люрексом и даже стеклянная, позолоченная пуговка. А сам шелк казался мне непременно парашютным. Ребята на ХГФ говорили,

что я произвожу впечатление иностранки. Американки, должно быть. Лед на пруду начал подтаивать. Возле загадочного кафе под названием «Цыплята табака» (загадочным, так как неизвестно, что там внутри, и заходить отчего-то всегда боязно) две зурбаганки в платках цвета охры, повязанных по-арабски и цыганских юбках сидели на корточках, опершись о стену, и с суровой надменностью смотрели вдаль. Они гармонировали с моим апельсином, и всю дорогу до общаги я думала о них. Придя, зарисовала несколько пол-листов ватмана мотивами апельсинов и зурбаганок.

Нюта сидела в классе за учительским столом и спешила переписать конспект по психологии. Занятие настолько мутное и скушное, что Нюша, несмотря на ограниченность во времени, произвольно радовалась любой возможности отвлечься. Разбираться во всевозможных сокращениях и неправильно записанных терминах, когда с худграфовской крыши звенит солнечная капель, когда все внутри стремится лишь к одному — к большой и чистой любви (А кто ж ее весной не хочет?) — худшая на свете каторга. Вот бы сейчас: открывается дверь и появляется Он! Впрочем, дверь и так открыта.

Зато парень, заглянувший в класс, был в ладах и с весной, и с самим собой. Из-под распахнутой черной куртки вырывалась белая рубашка с расстегнутым воротом, челка задорно топорщилась над весело сияющими глазами, губы дрожали, готовые расплыться в широкой улыбке. Мгновение: он заглянул, сверкнул глазами на Анюту и исчез.

Она только и успела подумать: «Ну вот: такой красивый и не мой!», как он появился снова. Легкой пружинистой походкой подошел к Нютиному столу, ловко приземлился на край, внимательно и прямо заглянул девушке в глаза, заразительно рассмеявшись, спросил: «Отчего вы такая грустная? Отчего может грустить такая красивая девушка? Меня зовут Иннокентий». И вопреки обычной своей мрачности Анюта рассмеялась в ответ.

Кешка шел по жизни в белой рубашке с воротом нараспашку, с челкой, развевающейся на ветру, с вечно играющей на губах открытой и жизнерадостной улыбкой. Женщины, не замечая застиранности этой рубашки до дыр, пришитости не того цвета нитками пуговиц на куртке и даже резиновых полусапожек на ногах, валились штабелями вдоль дорог, по которым пружинисто и легко ступали его длинные ноги. Замечал ли это Кешка? Бог его знает.

Дитя улицы, из серии: «... я начал жизнь в трущобах городских, и добрых слов я не слышал, когда ласкали вы детей своих, я есть хотел, я замерзал», он работал грузчиком в магазине на переезде, где подкрашивал помидоры в красный цвет, опрыскивал одеколоном протухшую рыбу и нагревал своим телом черствеющий хлеб. Был у него старший брат, менее красивый, более серьезный, учившийся на худграфе на первом курсе. Мы его, надо сказать, не замечали: общался он по большей части с ИПФом. Кешка тоже мечтал поступить на наш факультет, и, искренне полагая, что лучшая подготовка к прорыву в учебное заведение — это пить с его студентами, готовился к вступительным экзаменам изо всех сил.

Худграф — это было что-то такое, другое совсем, непонятное и прекрасное. Все тут чудили, и даже напивались необычно и интересно. Кешке нравилось все: и запах краски, и экзотические наряды, и вычурная по сравнению с родной Кушвой речь. И то, что все здесь «больно умные» и «шибко грамотные» его совсем не раздражало. До последнего момента, правда, Кешка не замечал, чтобы бабы тут как-то особо отличались от уже изученных, потому что общался он в основном с девчонками своих собутыльников из пяťсот второй, хотя что-то и в них было...

А Анна... Нет, таких ему встречать не приходилось: она не прыгала, не суежилась, не вертела перед его носом задницей, не сюсюкала его смазливую физиономию.

Будто время для нее текло по другой реке. Подняла голову, потом ресницы...

«А-А-А!» — с криком ухнул Кешка в загадочную серебристую глубь глаз. Закружило его, понесло. И хотя по привычке нахально скалился белозубый его рот, но сердце как в воздушной яме в самолете: «ба-ах... ба-ах...» — тяжело скакало, пропуская положенные удары. Выйдя тогда во двор, и отчасти придя в себя благодаря свежести весеннего полдня, Кеша понял, кого напонила ему девушка с тяжелой копной серебристо-русых волос и загадочной улыбкой — Мону Лизу. Видел ее такую Кешка в учебнике в пяťсот второй, когда искал картинку с голыми бабами. Тогда, правда, она не произвела на него впечатления в чернобелости и подслеповатости печатного изображения, но живая...

Если бы Кешка учился в школе по-человечески (забыл уже, когда это было — школа, и что там было, кроме курилки под лестницей и азартного страха в раздевалке, когда таскал из карманов кошельки и конфеты), звучали бы сейчас в его голове есенинские строки насчет: «...сколько девушек я перещупал, скольких женщин в глазах зажимал», и что такие бывают, даже думать не догадывался. Во всяком случае, все в нем бродило и пенилось, и весело попинывал Кешка попадающиеся под ноги консервные банки, и подмигивал проходящим девушкам: «...не обижайтесь, девушки! Но для солдата главное — чтобы его далекая любимая ждала»...

## ПОСЛЕ ПРОЛОГА. ГЛАВА 83. 5 курс.

Лед на пруду потихоньку тает. Он еще не ломается, но стал серым и рыхлым, и не видно, где он, а где уже серое и рыхлое небо. Небо ложится усталым беременным животом на прогибающийся теплый лед и кое-где расплазается по швам. В эти швы вываливаются мокрые хлопья-лепешки. Они бестолково с потерянными взглядами валяются вниз и попадают нам с Сережкой Струновым за шиворот.

Мы от этого вздрагиваем, поправляем шарфы и бредем дальше по набережной.

Приятно пахнет дымом от Сережиной сигареты.

«А что бы ты сделала, будь у тебя много денег?» — спрашивает меня Сережка. Он высок и худ. На нем длинное черное пальто с искрой, гороховые мягкие брюки, офицерская планшетка на ремне через плечо и орехово-шафраново-изысканное кашне. Его светлая голова не покрыта, стекла его круглых очков в металлической оправе, так же как и моих в наивно-голубой, пытаются залепить сырые снежные хлопья. Падают они и в его интеллигентскую бородку, где шипя, встречаются с сигаретным пеплом.

Я, редко, по пионерской наивности своей задумывавшаяся на такой счет, начинаю нести какой-то бред о благотворительности, дети-миротворцы и тэ пэ. Сережка терпеливо, без снисходительной улыбки выслушивает все это, а потом говорит, что будь у него много-много денег, он купил бы большой дом с деревянной террасой, мы вынесли бы на эту террасу два плетеных кресла, укутались в пледы и пили бы горячий кофе из маленьких кружек с блюдцами, глядя как поднимается сигаретный дым, и как падают мокрые снежные лепешки.

Когда мы дошли до перекрестка Мира-Ленина, я сказала, что если у меня вдруг будет много-много денег, я куплю Сережке этот дом. Он рассмеялся, кажется, растрогавшись, и казалось: он мудрый старик, а я наивная кудрявая и розовощекая девчонка. Это не было обидным. Было сыро и промозгло, но кофе с террасы согревал нас.

## Глава 29.

Качеля скрипит весеннюю качельную песню. Две наши с Нюшей попы втиснуты в сиденье с плотностью пробки в бутылку шампанского. Тазовые косточки упираются в железо, а под все теми же пяťми точками снег уже растаял: как мы будем вставать и идти на композицию — совершенно непонятно.

Строго говоря, на композе нам делать нечего, Станислава Игоревна, да простит она

меня, грешную, сама не знает, что на ней делать. Задания мы все равно выполняем дома, большинство прямо перед просмотром. Мы с Нютой, правда, нет. Она из обязательности, я оттого, что композиция — мой любимый предмет. Не в смысле на уроке посидеть, а в смысле порисовать. Композиторские способности — один из моих немногочисленных козырей. Хотя способности у меня эти с литературным уклоном, что на тагильском худграфе считается ущербным. Ну да что там. Что есть — на том и стоим. Все равно, как уже было замечено, методика композиции — слабое место в обучении изобразительному искусству, и не только здесь. Станислава Игоревна то попытается изобрести какие-нибудь задания, то притащит альбомы с репродукциями, но в конечном итоге все сведется к увлеченному рассказу о поездках на всякие семинары и фестивали и вялым просьбам не подвести на просмотре. Так что мы качаемся. Побаиваемся, конечно, но качаемся. Повизгиваем (и от предвкушения выволочки и от вкушения чувства полета) и качаемся.

Никогда раньше не визжала. Не позволяла себе этой идиотской бабской радости повизжать. Но когда проходящий мимо Славка Королев вдруг с хитрой своей монгольской улыбкой берется огромной рукой за поручень и легко с одного качка забрасывает нас под самые весенние тучки, мы вместе с Нютой визжим, чувствуя, как наши плотно вбитые в сиденье попы отлипают в воздух. И орем.

Славка довольно лыбится. Он жутко целеустремленный кадр, ему не до отношений с девушками. Всю энергию своего почти двухметрового мускулистого тела, вбитого в джинс, он тратит на создание грандиозных полотен из динамичных и жестких сочетаний стального, северного-синего и красного. Но несколько раз подбросить вверх железную конструкцию с двумя соблазнительно визжащими особями женского пола, заставить взметнуться кверху две пары ножек, округлить две пары глазок и услышать нежные умоляющие вопли: «Ой, нет, Славочка! Нет! Боимся!» — ни к чему не обязывает.

Я вижу прямо в небе свои черные ботинки, похожие на старинные башмачки: они летят. Мы ведьмочки на метле старой скрипящей качелины. Неподалеку на скамейке два старшекурсника бормочут непонятные термины, как два магистра магических наук. Один из них тощ и белобрыс, а второй брюнет, обладающий мефистофельским профилем и диким мустанжым взглядом. Вот мы все с тем же визгом отрываем от поручней руки и летим. Летим по весеннему тагильскому небу, как шагаловские барышни сквозь запахи тающего снега, тополиных клейких почек и жареной картошки. «Вот именно это я и имел в виду», — очевидно, говорит, отслеживая черным глазом наш полет, булгаковский Володька Бурса.

— Развлекаемся? — оба наши «кавалера», притянутые на задний двор факультета извечным загадочным правилом (замечено: если только рядом с тобой появляется мужчина, даже без особых на твой счет намерений, все остальные «твои» тут же нарицуются).

— Угу, — отвечаем мы с таким видом, словно готовы качаться до конца уроков, в действительности же уже примерзли к железно-деревянному агрегату и подумываем о заждавшейся нас лекции.

Юноши, переглянувшись, «закатывают рукава» и, крякнув, отправляют нас в полет. По-моему, ты опять мне за что-то мстишь. По крайней мере, мои ноги уже не просто высоко в небе, а прямо у меня над головой. Привет, ноги!

А потом мы сушим промокшие насквозь юбки о батарею на втором этаже. Народ проходит мимо и спрашивает: сидите? «А что делать?» — отвечаем мы и смеемся. Я знаю, тебе хочется сказать, что мы на качеле описались со страха, но это только наша привилегия. «На качеле описались от страха», — отвечаем мы на вопросы любопытных, и Кешка давится вместе с нами хохотом.

— Накачались, детки? — сурово интересуется Станислава Игоревна, когда мы вползаем в класс под конец урока.

— Угм, — только и можем ответить мы.

## Глава 32.

Нарисовалась — не сотрешь. Заюлила, заметала хвостом под дверь. «Р., пойдём ко мне! Ну очень надо!».

Я выводила тушью стеклянный стакан с желтыми нарциссами на высоких стеблях и пятна солнечного света, и со стеклянными искрами тени на голубом столе. Рисовала изогнутыми мягкими линиями. Стараясь идти за настроением, а не за внешним реализмом. Я гнула лепестками, упруго оставляла лишь наивно лупящие глазки и доводила себя до ощущения прозрачности и игры света с тенью.

Ты постучал, вернувшись. Вот еще выдумки. Я поморщилась: теркой по телу прошло ожидание неприятностей.

— Это мы.

Вторым был птенец. Крупный, голобрюхий с желтизной у рта, сидел он в розовой шляпке Нинки Седушки. И шляпку эту он уже превратил в общественный парижский туалет. Без всякого, скорее всего, веденья отсутствующей в этот момент Нинки, зато с легкой руки ее чудесной подружки Лелочки Поповской.

«Угу,» — мрачно пробормотала я, прекрасно представляя себе душераздирающую сцену. «Р...чик, миленький, помоги! Я шла с худграфа, слышу — пищит, вижу — сидит в траве. Я взяла. А он все орет и срет, и чем кормить его, я не знаю! Он, наверное, сдохнет скоро! Возьми его, пожалуйста! Пусть он лучше у тебя сдохнет!» — вот гнида!

Конечно, от отчаянья я заорала.

— Нам уйти? — холодно осведомился эР. Ну, разумеется, нет.

И мы начали жить вместе. Как супружеская пара, не разводящаяся из-за ребенка. Ей-богу, это было что-то!

Сережка, как ты назвал птенца, ел живых червей, пережеванный подорожник и витамин Д в масле, пил воду из пипетки.

С этих пор у меня нежное и трепетное отношение к дождевым червякам. Нет, мне не было жалко отправлять их живыми в бездонной пропастью распахнутый рот.

Ей-богу, не до жалости было. Сереге есть нужно каждые два часа, а хотел он лопать и орал об этом вообще постоянно. Просто вот, например, после дождя их так безжалостно вымывает на тротуары, а люди, они не смотрят под ноги и наступают на розовеньких кольчатых созданий, изо всех своих сил стремящихся в траву, в родные пампасы. Сложные чувства. Я их до сих пор, когда никто не видит, собираю и по-быстренькому выпускаю в зелень, подальше от каблуков.

Правда, по первоначальному мы сделали попытку пристроить Серегу в хорошие, компетентные руки. На станцию юннатов во Дворец творчества юных. Рациональный эР оттаранил с утраца подкидыша, всю ночь демонстрировавшего нам прелести жизни молодой семьи. Но к концу пар меня загрызла тревога за голопузое чадо, и я повыела эРу всю плешь, уговаривая отвести меня проверить, как Сереге живется на новом месте.

Старушка дежурная поддалась на слезные мольбы, а может, обаянию моего кавалера, и отыскав на щитке среди несчетного множества ключей нужный, повела нас в глубины Дворца. А это, ей-богу, был дворец. Вместо лестниц — мраморные пандусы, застеленные бархатистыми дорожками, журчащие среди искусственных садилов ручьи, аквариумы в стенах, где, подсвеченные невидимыми светильниками, посверкивали золотистыми и латунными боками загадочно молчащие рыбки.

Но вот место, отведенное во дворце Сережке, ужаснуло меня. В открывшуюся дверь из влажной темноты пахло звериным и птичьим пометом и истерией. Вопили все, разве что ежики помалкивали, но громче всех орал, как мне показалось — мой птенец. Под потолком вспыхнул мутный желтый свет, и я наконец отыскала его среди клеток, банок и прочих неуютных зверьих жилищ: голодного, уделавшегося и трясущегося от страха и отчаянья.

Эр досадливо покачал головой, но ничто не могло заставить меня оставить Серегу здесь. «Успокойся, птенчик мой, мы идем с тобой домой», — шептала я в покрытую нежным пушком головку. «Никогда. Я тебя

не брошу никогда!». И мне казалось, что сердечко колотится все спокойнее, а круглые глазенки смыкаются. Эр злился.

Еще бы ему не злиться. Ведь теперь его святой и неснимаемой обязанностью стало копать червей.

Нам повезло, что за прудом поля. Поля неоднократно прославлялись и воспевались худграфовской братией во многочисленных этюдах и зарисовках. Конечно, популярность нескольких квадратов то черной, то веселенькой изумрудной, то охристой земли между блестящей лентой пруда и зеленой, золотой, черной полоской леса на горизонте объяснялась с одной стороны ленью худграфовцев поискать более достойные объекты, с другой очевидной талантливостью кое-кого из худграфовцев, действительно вдохновившихся этими квадратами и полосками. Теперь поля за прудом казались мне замечательными прежде всего тем, что в них водились дождевые черви.

«Жена» из меня получилась стервозная. Просто жуть. Дело в том, что хитрая наука копания червей в поле мне никак не давалась. Я могла перерыть носом километры глинозема — и ничего. Так что моим уделом было собирательство, на манер первобытно-общинных женщин. А собирательство результаты давало лишь сезонно — после дождя. Я ни в институт, ни в магазин не выходила уже без полиэтиленового пакета, собирая кольчатых, как бомж пивные бутылки. Но все равно, зависимость от добытчика была налицо. Поэтому стоило эРу задержаться, оставив на мое попечение отчаянно орущего от голода птенца и пустую, без червей, банку... Я стервенела. Как поет Янка, неуклонно, с каждым часом, с каждым вздохом и так далее.

А ты... перед твоим взором тут же предстала твоя мать, хватающая все, что попадает под руку от чашки с кофе до пылесоса и стиральной машины и мечущая их в многострадальную голову, да, пьяненького, да, непонятно куда задевавшего зарплату, но такого всегда доброго, милого и трепетного отца. «Ах, боже ты мой, — говорил ты. — А, может, у меня тоже проблемы? Может,

я тоже нуждаюсь во внимании и тихом слове, не меньше, чем этот птенец в червях?»

«Ага!» — кричала я, бешено вылупляя очумелые от Серезкиного крика и твоей невозмутимости глазки, и, спрятав за пазуху птенца, пулей вылетала из мастерни и устремлялась в поля.

Быстро же слетает с нас налет цивилизации, когда голос подает материнский инстинкт. Вырытые мной дождевые черви — все в земле, и я не задумываясь облизываю их, не могу же я дать ребенку грязное. Серезка успокаивается, глазки его слипаются. А мне еще надо наполнить банку. Тут появляешься ты.

Ты требуешь ложку. Да нет, спасибо, я сама. Вид сытого спящего птенца дарует моей душе умиротворение и покой. Я коротко отказываюсь отдать тебе ложку. Теперь я готова смиренно колупать землю до ночи. Тем паче, что ночь уже близка, сумрачно, каплет мелкий дождик.

Ты орешь. Ты вышел из себя. Ей-богу! Что ты там орешь, мне не вполне понятно в моем отупелом розовом состоянии. Ну, естественно, ты обвиняешь меня в эгоизме, но главное, в том, что я вывела тебя из себя. Я тогда еще не увлекалась перелопачиванием гороскопов и не знала, что выйти из себя — для Весов самое страшное. А потому твоя истерика ниспосылала мне еще большее умиротворение: часто, слишком часто ты казался мне бесчувственной резиновой куклой, а теперь, слава богу, я видела, что ты, как и все нормальные люди, состоишь из плоти, крови и нервов. Честное слово, сам виноват: психуешь, а мне от этого хорошо-о-о. Сам виноват, потому, что никогда раньше в подобных ситуациях я не испытывала положительных эмоций. Я сижу на земле, тихая и просветленная, задрав голову вверх, где кричит эР.

Теперь уже ты подпрыгиваешь и направляешься неизвестно куда по черному полю. Я бреду следом, за пазухой сопит теплый Серезка. Ты раскидываешь крестом руки, очевидно, призываешь небо взглянуть на твои мучения. Ты очень мил в позе Иисуса под темным грозovým небом. По-

том ложишься на черную землю, я присаживаюсь рядом, прилипчивая тень. Снова встаешь и идешь, идешь, идешь. Бог знает, что задумал. Я раскаиваюсь: может, тебя настолько задело то, что ты сорвался, что ты теперь не можешь с этим жить? Пересекаешь поле семимильными шажищами, я овечкой семеню сзади. В лесу цветут купавки, но мои глаза, в дожде и слезах, видят только мокрые желтые пятна на сыром темно-сером. Краем сознания отмечаю, что неплохо бы на обратном пути забрести вглубь леса и окунуть нос в пахнущие апельсинками сердцевинки любимых цветов. Мох под ногами проваливается все более и более влажно, сапоги уже в коричнево-зеленой темной жиже, расцвеченной обрывками травинок.

И вот вместо леса вокруг меня полупрозрачные кусты ив, а ноги наполовину высоты сапога провалились в болото. А прямо за ближайшими кустами — очень похожий на море разлившийся пруд. Стального цвета мелкой рябью вода, и над ней кисейной молочной взвесью туман. А тебя нет.

— Эр... Эр... — робко взываю я, болото под ногами урчит, а пруд впереди ритмично плещется. Я начинаю бояться, что та или другая пучина поглотила тебя сей момент. Уна момент. Подозрения мои делают голос тоненьким и дрожащим с легко читаемыми слезливыми интонациями. Вот-вот мои στεзания перейдут в жалобный вой. Очевидно, мой тихий скулеж со стороны производит забавное впечатление. По крайней мере, ты выходишь из-за какого-то куста, едва сдерживая смех.

— Иди сюда...

Ты присаживаешься на один из шуршащих травой островков суши. Потом вытягиваешься во весь рост, закинув за голову руки. Мы с Серезкой устраиваемся рядом. Ты говоришь, что хотел поплыть через пруд. А потом подумал, что на фиг... Что глупости все это... Через пруд... Волны ритмично плещут о сырую жижу берега. На наши лица капает дождь. Сытый Серезка возится на груди, смотрит свои птенцовые сны. Зевает желтым ртом.

### Глава 33.

Серезка (птенец) погиб. Глупо так. С глупой же символичностью. Все кругом цело: яблони, сливы, жасмин и акация, а кое-где еще черемуха и уже сирень. А, не важно — все цело. Окна в общагах распахивались настезь, и в них вывешивались многочисленные ножки: студентки готовились к зачетам и параллельно загорали. Снизу, со двора, поднимались влажные испарения прошедших теплых дождей и сладко щемящие сердце запахи цветения. И томили, томили. Из всех же окон магнитофоны женскими и мужскими голосами на разных языках пели об одном.

Вечерами я читала тебе Грина. Солнце расчерчивало и без того полосатый матрац, расстеленный на полу — обычное твоё место обитания. С Серезкой все как-то устаканилось, стало привычным. Он взрослел, желтое пятнышко вокруг клюва почти исчезло. Он теперь уже, неловко переваливаясь, бегал по линолеуму, поскальзывался. Любил сесть мне на ногу и так путешествовать. Вечерами безумствовали лягушки и соловьи.

Естественно, было самое неподходящее время для сдачи экзаменов. И тем не менее, сессия всегда, когда соловьи, когда цветут яблони. Когда студенток гораздо больше волнует вопрос новых колготок и само это ощущение, как у куколки, превращающейся в бабочку. Ощущение вылупления. Из шуб, пуховиков, теплых сапог, шарфов и шапок. Ой, надо же, а оказывается, у меня есть ножки, да еще и прехорошенькие, и талия, и грудь, и волосы... Туфелька сжимает ступню; она ставится на полоску сухого асфальта с нежностью впервые влюбленного первокурсника. И ножка пританцовывает. И слава богу, утренние полчаса с плойкой не уничтожены надеванием шапки. Локоны вьются, касаясь разгоряченной щеки, и ветер играет ими... ну, например, как тот же первокурсник. Или лучше второкурсник? Или выпускник, у которого в глазах тоска и разгульное: «Эх! Последний раз гуляю!».

О чем это я? А, о сессии, конечно. О зачете по физре.

Зачет по физре — полный идиотизм. Спрашивается, что мы можем сдавать, если мы ничего не учили. Нормы? Чего нормы? Отжигания? Приседания «пистолетиком»? Да, еще в это время обычно физруки спохватываются и отправляют студентов сдавать бег на лыжах через пруд. Заодно с плаванием, естественно. Нормы ГТО. Готов быть Трупом, Отвечаю.

Весь год мы о физре и помнить не помним, а как асфальт оголится — здарсьте, пожалуйста, мы, оказывается, должны в нашем возрасте преодолевать энные дистанции за энное количество времени. И еще разные вещи должны уметь. Ладно хоть физруки понимают, что если бегать по идее каждый человек может, то стрельба там, или плавание, или попадание мячом в высоко подвешенную корзинку, этому нас они должны были научить. Потому мы в основном зачет сдаем в виде бега.

Стометровую дистанцию худграфовцы преодолевают с героизмом марафонца, принесшего грекам радостную весть о победе. Так же падаем на финише. У начерченной на асфальте линии, означающей конец расстояния, которое необходимо преодолеть, валяются бледно-зеленые и бордово-красные худграфовцы, более стойкие мужественно морщатся, прижимая ладони к печени или сердцу, в зависимости от того, что норовит выскочить из организма.

Вот из-за этого долбанного зачета и погиб Серега.

В одиннадцать поставили зачет. И, как назло, не с кем оставить птенца. Только запутавшаяся в своих мужчинах Нинка Седова. Запуталась в мужчинах и не шла сдавать зачет.

Стала учить историю искусств и сухарики грызть. Накормлю. Витамины дам. Угум. Угум. Угум.

Собственно, она не виновата. Так судьба сложилась. Подложила Лелька Нинке свинью в виде Сережки в летнюю розовую шляпку, и, сама того не желая, Нинка Сережка за шляпку отомстила.

И, главное, зачет ведь отменили. И лете-ла я домой на крыльях тревоги. А Нинка в дверях.

— Он почему-то закричал-закричал. Побежал-побежал. Упал и умер.

Скорее всего, она его напугала. Уронила что-нибудь. Или просто сказала: «Ух!» или «Плюти-плюти-плют», подойдя тихонько со спины, когда он был занят чем-нибудь жизненно важным или просто глубоко задумался о своей судьбе. И его маленькое сердечко разорвалось.

Я не обольщаюсь насчет какого-нибудь особого отношения Сережки ко мне лично: во-первых, мне кажется, что птицы настолько далеки от нас, что вряд ли испытывают к людям какие-то о чувства, вряд ли принимают их за своих; во-вторых, Сережка уже в самом юном возрасте пострадал от человечества в лице Лельки, так что, наверное, не в состоянии был полностью доверять нам, двуногим гигантским монстрам; в-третьих, он еще так мал. Поэтому птенец, скорее всего, испугался неожиданного громкого звука, а не того, что я ушла насовсем.

Так глупо. Глупо и непоправимо. И нелепо. Ведь он мог запросто умереть от рахита, голода. Его еще тогда, в кустах, попасться кошке.

Если бы Лелька не полезла к нему со своими чуждо пахнущими для птиц лапами. Тогда птицы все равно что-нибудь бы да придумали. А когда она его уже погладила («уй, ты, маленький, уй ты усюпусечка»)… Медведица бы ее разорвала. А дроздики просто бросают пахнущих чужим младенцев.

Он уже довольно быстро бегал. Уже пытался помахивать маленькими крылышками. Однажды он мог бы полететь.

Но вот я иду, почти бегу, и в моих ладонях бездыханное худенькое тельце, нежный, теплый еще животик. Я целую маленький затылочек, весенний ветер тербит крохотные пушинки перышек.

Если бы от моих слез и поцелуев круглые глазки могли открыться.

Невыносимо одной в этом бездонном горе. Нинка, легкая, резиновая Нинка, Нинка — разноцветный прыгучий мячик — не понимает меня. Я совсем не зла на нее. Мое горе такое соленое и огромное. Рядом с ним нет места ненависти. Мое горе такое

маленькое и невесомое, я несу его к тебе. Мне плевать на дурачки торчащие косички, на красные нос и глаза, на спортивное трико и футболку. Я бегу к тебе, будто ты можешь что-то изменить, будто ты можешь оживить его…

— И что я могу изменить? — ты досадливо морщишься, ты занят, тебе не до нас, — Наташа, я приду вечером, тогда поговорим, — ерзаешь на табурете, в класс заглядывают одноклассники, больше всего тебе хочется, чтобы я ушла. Ей-богу, ты меня не понимаешь, ей-богу, не понимаешь, что Сережка умер!

— Сережка умер! Ты не понимаешь? Он умер! Я оставила его с Нинкой, он чего-то испугался, и у него разорвалось сердце! Его больше нет! — кричу я, не вытирая слез, ведь руки мои заняты. В класс потихоньку набирается народ, во взглядах — любопытство. Ты опускаешь голову, тебе неприятна публичность скандала, — Ты бессердечен! Ты — просто робот! Бездушная машина!

Я вылетаю из класса. Реакция эРа не укладывается в моей голове. Убитая, бреду обратно. Неподалеку от худграфа вижу первокурсника Гашиша, разрисовывающего зеленым и оранжевым коммерческий ларек. Гашиш — добрый, он не может не сказать мне пары-тройки сочувственных слов. (Правда, Гашиш — тоже Весы…)

Полуминутой спустя продолжаю ползти, ударенная по голове пыльным мешком повторившейся ситуации. Справедливости ради, замечу: нет, Гера не отмахивается от меня, но выпренные рассуждения о карме, взглядах восточных философов на проблему смерти и практических выгодах отсутствия в моей жизни беспокойного пернатого хозяйства, что-то не утешают. В этом мире кто-то сошел с ума: или эти парни, или я, излишне эмоционально воспринимающая событие…

Когда возле пруда нагоняет меня эР, мои чувства переходят уже в стадию молчаливой скорби. Я размышляю об утилитарных проблемах, связанных с погребением: лопатке, совке или столовой ложке. Поэтому вторая часть доклада Герки в исполнении

эРа, на все ту же тему: что ни случается — все к лучшему, а философия Востока говорит… — не находит отклика в моем замершем сердце. Я жму плечами и ухожу. Ты вспыхиваешь, обижен. Как будто, это не ерунда — твои обиды сейчас. Вот если бы ты сказал: «Я буду с тобой. Я помогу тебе найти местечко, где нашему Сережке будет спокойно и уютно лежать, где будет красиво и тихо. Не плачь. Мне так жалко его». Но простые слова — слишком сложно для тебя. Я ухожу…

В вестибюле ДТЮных шумно и свежо.

— Здравствуйте. Вы не могли бы дать мне ненадолго какой-нибудь совок или лопату? — проплаканным до хрипоты голосом обращаюсь к старушке вахтерше, та неожиданно не возражает, даже просит одного из стоящих рядом с ней мальчишек ПТУ-шников:

— Сережа, помоги девочке.

Я вздрагиваю так, что улыбающийся парнишка с лопатой интересуется: «Что-то не так?».

— Просто его тоже Сережкой звали! — всхлипываю я, слезы тяжелыми мокрыми горошинами сыпанули из глаз. Мальчишка смотрит на меня тепло и сочувственно. У него сросшиеся на переносице черные брови, круглые, веселые, удивленные глаза, черные волосы на затылке приподнялись хохолком. Он терпеливо, с серьезным выражением лица, ждет, пока я выберу место.

Местечко я нахожу красивое и беспечальное: под кустиком жасмина, слева — сирень, справа — черемуха, вокруг — солнечные одуванчики. Одним копком лопаты Сережка-студент вырывает могилку, но не уходит, даже дает отмашку подошедшему другу — не до тебя. Я выстилаю ямку листом лопуха и выкладываю жизнеутверждающе сияющими медовыми цветками. При этом по-прежнему тихонько лью слезы и причитаю: «Сережка! Сереженька! Любименький мой! Маленький мой! Как же ты меня покинул?! Как же я без тебя?! Сереженька!» Мой помощник смущенно шевелит бровями, губы его слегка подрагивают. Ему так странно, будто присутствует он на собственных похоронах, и будто эта зареванная, но в общем-то

симпатичная девчонка с косичками по нему, Сергею, студенту металлургического техникума, второй курс, убивается.

А мне тоже кажется, что это мой птенец Сережка не умер, а поселился своей маленькой теплой душой сначала в светлом беспечальном облачке над моей головой, а потом в паренке с сочувствующими, добрыми глазами, черными и круглыми, как у дрозденка.

Мы молчим, где-то в самом сердце чувствуя, что теперь родные друг другу. Я выкладываю из щечек на могилке маленький крестик, хотя убеждения мои еще здорово колеблются от атеизма до веры и обратно, и поднимаюсь с колен. Еще минутку молчим над последней кроваткой птенца, потом я спрашиваю, нельзя ли где-нибудь умыться. И Сережа со все той же приветливостью провожает меня к туалету.

Он даже дожидается меня снаружи и спрашивает: «Как ты?», и даже предлагает проводить, но тут его строго окликает официального вида дама. Сергея ждут маргаритки и левкои, и еще какие-то грядки. На прощание он успевает меня пригласить заходить к ним в ТЮД, то ли в клуб, то ли в кафе, где он бывает каждый вечер, ободряюще улыбнуться белыми зубами и издалека махнуть рукой.

Я иду и думаю: кто ты, Сережка из ПТУ? Мой маленький птенец в новом теле? Добрый ангел? Или просто человек? Нормальный, человеческий, теплый, настоящий, простой человек?

### Глава 34.

Я пишу акварелью парня с рыжей собакой. Собственно, парень и собака — лишь пара теплых мазков среди темного дождевого неба, мокрых сосен, ветра, рядом со старой лодочной станцией. Но картинка все равно о них.

Как-то мокрым вечером они скользнули мимо меня в этой самой лодочной станции маленькую боковую дверь. И я незаметно, одной мыслью, скользнула за ними. Там

переплетались от потолка до пола сети, там пахло свежей стружкой и рыбой. В занавешенное обрывком старого тюля окошко врывался плеск волн и тяжелый беспокойный ветер. Беспокойный? Да. Будоражащий, побуждающий. И одновременно — (сейчас тавтология будет) — полный покоя.

Покоя пули, покоя несущегося на всех парусах корвета.

Я долго шла до общаги, внутри себя разговаривая с рыжей собакой и парнем в тельняшке. Ни о чем особенном. О себе, о нем. И мы молчали о мокром морском ветре в соснах.

Я рисовала и думала о Сережке-ПТУшнике. О его легком характере, о его утре с яркоглазой яичницей и молоком в тонкостенном стакане, о его улыбчивой маме. О том, как он порой, вскользь вспоминает про нас с Сережкой, и тут же легко забывает, готовно откликаясь на разговоры друзей, улыбки девчонок и телевизионные программы. О его заразительном смехе. Мне было хорошо вспоминать его.

Пришел Руслан. Молча присел на угол кровати. Я то ли кивнула, то ли нет. Он с тяжелым вздохом откинулся на покрывало, прикрыв рукой глаза. Повздыхал. Поворочался. Страдает. Спектакль, честное слово.

Если это приглашение вместе помянуть птенца, то поздно, Ватсон, пить боржоми. А если огорчение по поводу моей грубости в институте и на набережной — не обесчудьте уж.

### Глава 31.

Моя жизнь на худграфе вовсе не состоит из одного Р.Т.

Снег растаял полностью, и асфальт — сухой. Ветренко и Майя Каховец танцуют чудные танцы, дудят в детские дудки и бренчат стеклянными бутылками, связанными в грозди. Я верчу ручку загадочного агрегата «Зубчатые передачи», взятого напрокат в кабинете черчения. Мой музыкальный инструмент представляет из себя с двух сторон открытый ящик из полированной ДСП,

внутри которого, цепляясь друг за друга, с металлическим дребезжанием и рокотом вертятся разномастные шестерни. Когда я кручу приделанную сбоку ручку. Эта киберпанковская шарманка чертовски тяжела и притащила ее сюда, на угол Мира и Ленина не я, конечно, а Макс Мазжерин. Но играю я. Играю, прислушиваясь к себе: тает или нет, отшелушивается или нет моя кожа из комплексов. И вижу я себя откуда-то сверху, почти чужим себе объектом, частью веселой, взбудораженной толпы.

Ветренка движет ладонями с сомкнутыми в плоские лодочки пальцами перед серьезным, покрасневшимся лицом, отводит их назад, дробно перестукивает каблуками, Майя раскачивается, ее раскосые черные глаза неподвижны, как на персидских миниатюрах. На обеих старинные, годов тридцатых шляпки из драпа, у платьев длинные расклеванные рукава. У ног ведра с красной гуашью. А к высокому кованому забору солидного строительного учреждения, называемого нами «Трестом», привязан на манер распятого Иисуса идеально подходящий на эту роль Сережка Струнов.

Впрочем, Сережка привязан не к самому забору, а к огромному, обтянутому белой бумагой планшету, а над головой его — планшет горизонтальный с высокопарной надписью: «Здесь будет распят художник», по обе руки — Серегины абстрактные композиции, исполненные маслом на похищенных бог знает где дверях.

Перформанс.

Толпа, равняясь как один в нашу сторону, обтекает слева направо, волнуется, позволяет себе вопросы, частично присоединяется, успокаивается, заметив оператора с кинокамерой. По-моему, камера все это дело портит, превращая действие просто в спектакль. Только бабули как всегда беснуются: «Молодой!» — кричат они. — «Да на нем пахать надо!» «Да его в металлургический надо!»

«В мартен!!!» «В мартен его!!! В крематорий!!!» — подхватывает и развивает с демоническим «Хо-хо-хо!» старушечью мысль худграфовская толпа.

— Ну че, я начинаю страдать? — спрашивает распятый и, получив добро, раздражается душераздирающими воплями. Вопли музыкально вплетаются в какофонию «симфонического» сопровождения, а девчонки с невозмутимостью и деловитостью сюрреалистических существ тычут в Серегу малярными кистями с красной краской того самого ржаво-коричневого оттенка: ладони, колени, губы и сердце (футболка и джинсы гибнут).

Потом его отвязывают, пристраивают на худую спину тяжелый планшет и под дудку, пузырьки и зубчатую передачу мы движемся к худграфу. Мы маршируем на каблуках, высоко вскидывая обтянутые капроном коленки, с лица Сереге течет ручьем пот и краска. Кто-то хочет ему помочь, но он, отказываясь, машет головой: он сам понесет свой крест. Я смотрю на его напряженное лицо с библейской бородкой, на натянувшиеся на шее жилы, и думаю, что все не просто так в этой мистерии, разрезанной на отдельные куски и склеенной в произвольном (?) порядке. Не случайно по пути к нам присоединяются какие-то совсем незнакомые люди, они принимают во всем действенное участие, они маршируют, и в глазах их незлое детское любопытство.

И вот он лежит во дворе худграфа, освещенный весенним солнышком, один к одному — исполнитель главной роли в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». Вот тело заворачивают в саван (белая вязанная скатерть с кистями), и совершенно незнакомые парни уносят его внутрь здания, а с планшета-креста снимают бумагу, сворачивают в комок, сжигают и закопав пепел, в ту же ямку садят маленькую сосенку. Ее поливают водой, а «горе» заливают пивом, на «могиле» читаются стихи и мало разборчивые речи. «Покойный» присоединяется к поминающим и прочувствованно благодарит, говоря, что в трудные минуты будет приходить на это памятное теперь для него место ...

Правда, на следующее утро сосенки не обнаружилось. Происки врагов.

## Глава 45.

Я не такая, я жду трамвая. Вот подходит трамвай номер восемь. Я стою. (Наверное, ей нужен другой трамвай, — думают люди.)

Появляется «единица». Я, по-прежнему, остаюсь на своем посту, посреди дороги, напротив драмтеатра. (Странная девушка... — думают люди. — Здесь же ходят только восьмерка и первый. А, еще двенадцатый. Точно: она ждет двенадцатый).

Весело звеня подкатывает номер двенадцать. Но я не двигаюсь с места. (Что она здесь делает? — тревожные люди начинают беспокоиться. — Что-то задумала?)

Девочка ждет. Мальчик не идет. Еще бы... — язвительные люди начинают отыскивать изъяны в моей внешности).

По правде говоря, людям абсолютно безразлично: сколько я тут стою и зачем. Это все мои комплексы: все время ощущение, что кто-нибудь за моей спиной меня обсуждает, брызжа слюной себе на воротник.

А я стою здесь потому, что в кино снимаюсь. Точнее, в телеэюде. Под рабочим названием: «Как одевается худграф».

Если судить по мне, худграф одевается скромно. На мне бордовые с поблескивающим рисунком клеши (это в то время, когда страна дружно предпочитает «бананы» и «галифе»), поверх гимнастического купальника расстегнутая лиловая атласная рубашка в тонкую черную полоску и джинсовая куртка эксклюзивного покроя. Оригинальность покроя обусловлена тем, что куртка сшита из штанов, так что ширинка превратилась в планку, а штанины в пышные рукава, наподобие тех, что были у герцога, распевавшего: «Сердце красавиц, почки и печень очень похожи на человечьи».

Я, слегка нервничая, «жду трамвай», темно-русская челка летит на глаза, нижняя губа по-цоевски вперед, невысокий каблук потертой вишневой туфли отстукивает то же, что рот отсвистывает. В глазах самоирония с философическим налетом.

Так же, с философской позиции воспринимая жизнь во всех ее проявлениях, щурится на солнце Гашиш, воткнувшийся

черной джинсовой задницей в клумбу с маргаритками, ноготками и левкоями. Как я уже говорила: Беркут заявляет: по манере одеваться — на худграфе — все хиппи, и лишь один захудалый панк. Добрый такой панк, домашний.

Гашиш вспоминает, что он панк и делает козу цокающей мимо каблучками девице. Девица шарахается. Довольный Герка посылает ей воздушный чмок.

Сережка стоит в метели облетающей белоснежным цветом яблони. Лепестки засыпают его рыжие мокасины, изысканно-голубые джинсы, черный пиджак, манжеты с запонками и офицерскую планшетку.

— Серега! Серега! Сделай лицо попроще, — хихикают из-за кадра. Струнов укоризненно поблескивает золотой оправой очков. Он внимательно изучает местную прессу. «Ознакамливается», так сказать, с местными новостями. Изысканный писк в том, что издание он держит вверх ногами.

Собственно, устроила все Наташка. И толком никого не предупредила. Кого в чем застала на худграфе завлекательная инициатива, тот в том и отправился. Рубашки из пестрого узбекского шелка, юбки до полу, шляпы загадочных фасонов... Те, кто ездит на пленэры по приграничью, одевается в тамошних секунд-хэндах: какие-то этнические яркие штуки, какие-то канареечные трикотажные клеши и изысканные блузки из мягкого х/б с кружевами а-ля захаровские фильмы по Шварцу. А у кого нет такой возможности — изобретают что-нибудь простенькое, но обывателя вводящее в состояние шока. Например: футболка под рубашку, футболка на рубашку, рубашка на рубашку. Например: нижняя в полоску, застегнута и заправлена, а у верхней закатаны рукава, и она, наоборот — распахнута. Бывает еще третья в качестве пояса или жилета. Еще можно разрыть бабушкины сундуки: кримпленчик, итальянская соломка, сапогичулки...

О! Наташка пошла. Как бы просто, через дорогу. Она сегодня вся такая: сороковые, Украина, Молодая гвардия. Медная корона из тугих кос золотится выбившимися ку-

дряшками, блузочка (наверное, настоящий антиквариат) с вытачками, круглым воротничком и маленькими стеклянными пуговками. Короткие бусы из крупных шариков. Замшевая приталенная курточка — беж сзелена. И цыганистая юбка, тонкое шерстяное плиссе, что-то там зеленоватое, черное, золотистое.

Пошла. Пошла. Движение на перекрестке сбилось. Оператор с режиссером проглотили слюну. Немтарев подавился ударившей в голову мочой.

— Ты это, Наташ... — режиссер замялся, заповодил растерянно руками в полуобморочном состоянии, — бедрами... того... поменьше. Камера трясется.

— Вот именно!!! — Немтарев схватил зубами собственный скорпионий хвост и зажевал им рвущиеся наружу эпитеты, наподобие «шлюха» и так далее.

Наташка пошла снова. Как будто «звезда» на вручении «Оскара», в рдеющем звонко алым румянцем, в изумрудном сверкании глаз и жемчужном сиянии зубов, среди асфальтового и небесного ультрамарина, под восторженные гудки машин и наши вопли. На крыше драмтеатра статуи рабочих и представителей творческой интеллигенции сдвинулись к краю на пять сантиметров. Музы и работницы с крестьянками, удержали их от неминуемого падения за штанины. Но она шла посдержанной. Она действительно шла посдержанной.

Когда на первом курсе на лекции по медицине мы подошли к разделу «психиатрия», Сулович, высокий язвительный еврей, внешне смахивающий на Шифрина, при рассмотрении таких заболеваний как «шизофрения» и «паранойя» прозрачно намекнул, что порой достаточно лишь взглянуть на манеру одеваться и внешний вид студентов некоторых факультетов, чтобы поставить безошибочный диагноз.

На счастье, мы, худграфовцы, миролюбивы и незлопамятны. А вот попробовал бы он заявить ИПФ-у, что, например, форма черепа будущих учителей труда не особо изменилась со времен питекантропов. Не знаю, чем закончился бы славный путь этого

преподавателя. Последнее, что я слышала, точнее видела в связи с ним — огромную надпись, появившуюся после летней сессии на институтской остановке автобуса. «Сулович! Ты за это заплатишь!» — гласила она грозно. Возможно, ему просто отрезали язык. Или выдавили яд из зубов.

Правда, положила руку на сердце, на первом курсе Шоу Альтернативной моды, в какое превращалось каждое появление на людях Ветренки, и меня вводило в состояние легкого шока.

Например: рыже-кирпичные галифе, туфли на каблучке, болотная блузка с пришитой второпях, крупными стежками бахромой от «бабушкиного коврика»; шляпка из черной соломки, не «а-ля», а действительно образца года сорок шестого, с букетиком фиалок на круглом блестящем боку. И на груди, на цепочке — репродукция Матисса. «Танец».

Или что-то типа «Наташа Ростова на первом балу». Длинное бледно-розовое платье, с поднятой под грудь линией талии, рюшами, воланами и голыми руками, в котором я, к ужасу своему, совершенно определенно опознала ночную рубашку. Капроновые банты на щиколотках, белая панамка с широкими полями. Верх панамки распорот и обтягивает цветочную вазу из картона — что-то вроде цилиндра, из которого торчит икебана из сухих и искусственных цветов. Довершает композицию старинный утюг, пасть которого открывается и закрывается (изначально, очевидно, для закладки угля). Это удобное устройство позволяло использовать чугунный агрегат в качестве дамской сумочки и носить внутри зеркальце и помаду.

Были у нас на факультете, конечно, и другие любители приодеться. Та же Майя.

Загадка: то ли у нее было десятка три-четыре джинсов с различным оформлением и аксессуарами, то ли она, изо всех сил гонясь за модой, ночами спарывала, например, стразы, чтобышить тесьму, а следующей ночью расправлялась с тесьмой, чтобы украсить аппликацией; затем избавлялась и от аппликации и за ночь вышивала крестиком на коленках копию картины Васнецова «Аленушка». Конечно, все это требовало

неимоверных усилий. И, несмотря на то, что в жертву цели принесено было немало мелочей жизни (в том числе учеба как таковая), за Наташкой, которой плевать было на аккуратность, она не попевала.

Для Наташки одежда — та же живопись. Красное, терракота и небольшое тускло-золотое пятно — подойдет хоть крышка от консервной банки, были бы в точку текстура и цвет. Главное: сочетание цвета, формы, линии и фактуры. Главное — образ.

Ветренка в изумрудно-треугольном или бруснично-квадратном выворачивала, переворачивала, переиначивала бытие города Нижнего Тагила, а может быть, и гораздо большего географического пространства.

#### Глава. 94.

Как это ни странно на первый взгляд, в общаге Серж жил уединенно. Дверь в его комнату (не его, конечно, кто бы ему дал комнату — он же городской, а Аллы Бородиной (она недавно вышла замуж за Бурсу, а комнату втихую отдала Сережке) закрыта была на замок, и откликнулся он не на всякий стук. Его дом — его крепость. Внутри царили покой и порядок, а наружу Струнов выходил пошалить, на манер Карлсона.

А сейчас мы шли купаться.

(Бен Роджерс: Том, а я иду купаться. Да-да, купаться!)

Да-да, купаться. Мы открываем купальный сезон.

Я в теплой куртке, Ветрена в спортивной фуфайке, Серж в пиджаке и кашне.

Купальный сезон решено открыть красиво: в настоящей купальне.

А в качестве десерта свистнуть щиты от Дома творчества юных.

(Куда идем мы с Пятачком — большой-большой секрет!)

Щиты, судя по восторженному Сережкину описанию, совсем новые, всего на первый раз покрашенные, из ДВП. Размером с самого Серегу.

(Иа: А какого размера был этот воздушный шар?

Пятачок: С меня!

Иа: С тебя? Мой любимый размер!)

Хищение щитов было, по мнению моих друзей, делом весьма выгодным и уж, конечно, богоугодным. Они вспоминали какой-то щит, унесенный когда-то со стены пожарки, какие-то планшеты, экспропрированные возле кинотеатра — все стали основами для чудесных живописных произведений. Очевидно, их происхождение принесло удачу.

(Элиза Дулитл: Мне чужое всегда к лицу!)

Дело было уже поздним, хотя и теплым, и светлым вечером, потому вряд ли кто-то мог нам помешать. Тем не менее, я ничтоже сумняшея пискнула, что, пожалуй, не смогу воровать щиты, хотя осознаю, что мы идем на такой шаг, доведенные до отчаянья произволом партии и правительства, и, по справедливости, ни в чем не виноваты. Моим комсомольским комплексам пошли навстречу и определили стоять на стреме.

Вообще, я в этой компании — самое слабое звено, так как купаться тоже не собираюсь: во-первых у меня, как всегда, болели почки, во-вторых, купаться предполагалось голышом, а я... ну, не могу.

Ветрена все подговаривала меня, упирая на то, как хорошо им будет плескаться в прохладной, почти теплой, сонной воде, как свободно и весело станут они резвиться в прозрачных струях, и только жалость ко мне, одиноко стоящей на берегу и завидующей им, «ржавой занозой» будет отравлять их радость.

Зато я была публикой, готовой рукоплескать их подвигам; ахать, охать и скандировать: «Оэ-Оэо-Эо-О! Спартак — чемпион!», нет, лучше петь из «Queen»: «We are the champions! We are the champions!».

Увы, один из пунктов, а именно: «Ограбление по...» осуществить не удалось. По объективным причинам. Виною тому то ли в высшей степени досадное совпадение, то ли бдительность работников дворца, заметивших хищный блеск в глазах нашего друга, когда, обдумывая предстоящее, прогуливался он неподалеку от украшенных призывами посетить сей детский рай плакатов.

В любом случае, факт остается фактом — планшетов на месте не было.

Не теряя присутствия духа, хотя и с легкой грустью, прошествовали мы мимо окон, в которые, должно быть, выглядывали гнусные в своей предусмотрительности завхозы и вахтеры и громко хохотали: «Ха! Ха! Ха!».

Однако впереди нас ждали еще радости духовные и физические, и наша компания бодро маршировала им навстречу, вторя лягушкам, распевавшим под мостом старинные французские песенки.

А вот и парк с купальней, где меднокожие и синеголовые корабельные сосны и гипсовые девушки с веслами. Ей-богу!

По толстому, влажному сизо-черному ковру сосновых иголок мы сбегает вниз к уходящему буквой «П» в пруд деревянному настилу. Настил покачивается под ногами, иногда с гулким уханьем погружаясь в неприветливую свинцовую гладь.

Реет освежающий, в порывах освежевающего ветерок. Этаким норд-норд-вест.

(В. Старжинский (бард): Вечерело. Холодало.)

Колорит в духе Коро и любимой погоды революционных матросов Балтики.

— Ну что?! Ха-ха-ха!!! — бодренько начинают скидывать с себя одежду мои друзья. С веселым призывом поглядывают на меня, но я по-прежнему отнекиваюсь. Две кучки шмоток на занозистых серых досках быстро растут.

Обнажившись, мои друзья красиво и энергично подпрыгивают, нежно розовея, а местами уже голубея обнаженными телами на фоне сумрачного влажного сосняка. Я

смущенно хлопаю ресницами и прячу взгляд в воротник.

— Водичка — просто парное молоко! — весело соблазняет Серегу Ветрена. Но что-то подсказывает мне, что этот энтузиазм насквозь лжив.

Однако же они прыгают в объятья стихии. И даже делают пару-тройку красивых гребков в серо-холодной жиже среди обрывков газет и сосновых шишек.

Возвращение обратно преисполнено отчаянной энергии и решимости. С серьезными и сосредоточенными лицами мои друзья вскарабкиваются «на борт» и, громко стуча зубами, бросаются к одежде. Скрюченные пальцы обеих мертвой хваткой вцепляются в подхваченную неясно из какой кучки тряпицу.

— Отдай мои плавки! Проститутка старая!

— Это мои трусы! Вонь подрейтузная!

Плюясь слюной, сквозь сведенные судорогой зубы, шипят Наташка с Сережкой, отнимая друг у друга красный лоскуток. Кожа их покрывается колючими пупырыми и цветом все сильнее гармонирует с серым небом и сизой водой.

Возвращаясь, мы вспоминали, как чудесно было купание, как бодрила прохлада, словно все (за компанию со мной) родились заново. Лица розовели, и в карманах даже наскреблось на шоколадку. Отодвинув дуло обреза, торчащего в амбразуру ларечного окошка, мы ссыпали вглубь мелочь и, получая необходимые юным телам калории, грызли твердую, горькую плитку. В соснах шумел норд-норд-вест.

## Георгий Звездин

### Сага

\*\*\*

В районе судозавода  
У развилки шоссе  
Несколько троп пересекают небольшой перелесок  
Здесь  
Бродят влюбленные, ища уединения  
Здесь  
Слышен скрежет механизмов  
Работающего неподалеку башенного крана  
Здесь  
Рассеянный грибник  
Удивленно глядит  
На уцелевшие обелиски

Казахи, татары, украинцы  
Растворяются в лесу  
Белорусы, грузины, русские  
Растворяются в лесу  
Венгеры, румынцы, немцы  
Растворяются в ГардАрике

100 лет назад,  
Солнечным днем  
Школьный сторож ворошил кочергой  
Догорающие остатки госпитального архива  
Посторонних живым и мертвым — безнадежных

Отвезли в городскую больницу  
Где они продолжали ожидать

Свои, затерявшиеся виды  
На тот, заполненный товарищами берег.

В районе судозавода  
У развилки шоссе  
Небольшой перелесок, весь в кочках

Я бродил там,  
Перешагивая через доли квадратных метров грунта  
Вытесненные из земли израненными телами  
Натыкался на ржавые ограды  
Готовые лопнуть под напором растущих деревьев  
С намалеванными на стволах  
Цифрами километража лыжной трассы

Хотелось  
Найти какие-то слова  
Сказать  
Несколько слов  
На понятном им всем языке  
Так вот для чего  
Живут поэты

### Сага

Жил человек по имени Николай Шутегов  
Он был уполномоченным по Осинскому уезду  
Вот он садится на велосипед, долго крутит педали,  
И приезжает в деревню Ипаты

На колхозном собрании он просит слова  
Встает и говорит вот что:  
Юрьев день под действием закона  
«отрицания отрицания»  
Совершает качественный скачок  
Это значит друзья  
Что я уполномочен  
Выдать паспорта тем из вас  
Кто поедет в город Кизел  
Добыть каменный коксующий уголь  
Припасенный для республики  
Кайнозойской эрой.

Из тех кто слушал его в тот день  
Был мой деда Паша  
Он был тогда молодым энтузиастом.  
Вот он приходит домой

Собирает чемодан  
И отправляется на Камскую пристань.  
В ожидании парохода его сморило  
И он лег на лавку положив чемодан под голову.  
Когда он проснулся на ногах не было ботинок  
Он встает и смотрит как река несет свои воды

Через два с половиной дня  
Он широко расставил свои босые ноги  
В Перми перед деревянным домом по Соликамскому тракту  
Родственники хорошо его встречают  
Они говорят ему:  
Дадим с собой еды и одежды  
Но обуви взять негде.  
И он отвечает:  
Вы сделали для меня так много  
Что я думаю, теперь мне до смерти  
Никто не отдавит пальцев.

Но вот он приезжает в Кизел  
Заходит в контору  
И его спрашивают:  
Что нового товарищ?  
И он отвечает:  
Нет ничего нового под солнцем  
Все так же алчна мировая буржуазия  
А несознательный элемент  
Еще долго не сносит мои ботинки  
Но что до меня  
То я хотел бы  
Украстить каменно-угольным ожерельем  
Истощенные груди республики.

Ему дают фонарь и он входит в клеть  
А на земле в это время ложится роса.

Теперь надо рассказать вот о чем:  
Прошло 15 лет как дед умер  
И вот приходит письмо на его имя  
Из журнала «Ридерз дайджест»  
В письме говорится  
Что теперь у него есть шанс  
Выиграть 5 миллионов рублей  
И среди прочего анонс ближайших номеров:  
«Кто отравил Бонапарта?»  
«Была ли Мата Хари шпионкой?»  
«Неслышанное разграбление Берлина в 45-м году».

Тогда я покупаю конверт  
Вкладываю в него сагу  
И добавляю от себя:

Господа! Мой дедушка умер  
Но мне кажется он живее многих из вас  
И в то же время мертвее  
Потому что  
Как знать? Не побрезгует ли Вами и мной  
Сама смерть.  
Живые сраму не имеют —  
Вот хороший актуальный заголовок  
Дарю его вам безвозмездно  
И еще дарю вот такую правдивую историю:

На Троицу мы забыли баян на погосте  
И вот мне приснились все те милые лица  
Которые скрыты теперь за сосновыми досками  
Слышался говор и смех и все было хорошо  
Но не обошлось без конфуза как в гробовщике:  
Они мне говорят:  
Что же ты Гоша забыл баян?  
И я ответил:  
Да на черта мне баян?  
У нас ведь нет песен  
У нас даже языка нет  
Мы оставили себе скотское мычание  
И этого оказалось достаточно  
Потому что это удобно  
И потому что мы народ-овощ  
А землю в которой вы спите  
Мы выпустили из рук  
Просто так без принуждения  
Потому что в наших жилах даже не вода  
А страх  
Беспамятство и бессилие.

И когда я сказал это  
Баян издал какой то бессмысленный звук  
Чрево его расселось  
А кнопки вылезли как фарш из мясорубки  
Я коснулся его рукой но он был мертв  
Мертв безвозвратно.

\*\*\*

За широту лица и долготу груди  
я тебя причисляю к лику  
сортировочной ГардАрики  
и деградирующих почв ея  
О светлой Пасхи банный день!  
Хрустящая апрельская сорочка  
на табуретах к пробуждению сыновей  
Набат с водонапорных башен  
их любимый танец  
«Куда ты мчишься птица-тройка?»  
— их последняя молитва

Бряцанье гардеробных бирок  
с жилистых запястий  
смыканье оцинкованных щитов  
Гоплиты все! —  
и старики и дети  
Я на себе ловлю твой полный ожиданья  
и синевой татуированный глубокий  
взгляд.

\*\*\*

За день до загробной жизни  
в парадном гроте сна  
встретить свою молодость — первую жену...  
Глядеться в глаза-запятые  
ловить ладонь-ящерку.  
Уткнувшись в ворс матросских блуз друзей  
слышать как слова озоном пахнущие  
мельтешат будто зебра  
города единственного на свете  
в котором женщины возникли  
из твоего мычания  
из твоего молчания — мужчины,  
Где ты от фонарей сносил обиды  
где до пенсии вечно  
тридцать с лишним лет.

\*\*\*

Если человек из земли —  
земля из человеческих тел.

Говорят красота спасёт этот мир  
но не ясно кто  
спасёт красоту

На буферах между тактами дней и ночей  
внутри этой фуги этой жизни внутри  
я лязгал  
я видел и знаю  
Как фонд человеческих лиц ограничен  
И как мертвецы беззащитны  
И как жмурится совесть в антракте  
в театре военных действий.

Поэзия ли это?  
— Да.

Мудр как чудик  
прост как паупэр  
медоточиво изрекаю притчи  
но никогда не отрыгну  
что всё мол суета....

Не суета эти всходы  
из посеянных пуговиц  
колосящееся море дней и ночей  
рядовых дизайнеров внутриутробного интерьера  
На разбомбленном геоиде  
залитом безразличным солнцем.

\*\*\*

Перед вами человек писавший стихи  
а что ему оставалось?  
ведь для души раба  
это своего рода апология

И я входил в будуар к поэзии  
— этой пожилой содержанке  
смотрел как она пудрит свое лицо камбалы  
а потом умолял открыть мне секрет:  
где взять крупницу человеческого достоинства?

Изжиты пустые надежды  
пришла ясность  
От человека остаётся только смех  
медленно уходящий в песок.

Семен Киров

## Папка!

Пьеса в одном действии на одного актёра



Раннее зимнее утро. Зябко. Форточка открыта и по комнате, почти пустой, гуляет сквозняк. Слева у стены стоит старый письменный стол, накрытый клеенкой, и табурет. На столе — какая-то посуда и склянки, допотопная электроплитка, тикают часы, дешевые, с пластмассовой позолотой. Справа у окна — мольберт с незаконченной акварелью, бумага уже пожелтела от времени. Коробки красок и кисти завернуты в целлофан и перетянуты резинкой. У мольберта стоит раскладушка без постели — на ней лишь скомканный плед. Справа в углу — небольшой курятник, собранный кое-как из сетки-рабицы и разнокалиберных досок. Дверцы его открыты. По полу, стуча когтями, бродят куры — рыжие и нахальные. Они деловито ищут остатки зерна и хлебных крошек, разбросанных по полу. Тяжело кашляя, как все курильщики со стажем, входит СТАРИК. На нем джинсы и спортивная толстовка, все длинное, не по росту, брючины и рукава подвернуты. В руках у старика неглубокая кастрюлька со снегом и пакет с кефиром. Он снимает шапку, ставит на стол кастрюльку и кефир, протирает запотевшие очки. Курицы топчутся у ног старика в нетерпеливом ожидании.

**СТАРИК** (довольно улыбается). Сейчас девочки, сейчас. Ни хрена не вижу. (Надевает очки, присматривается к курицам). Ну, чего?... Дуры...

Старик ставит кастрюлю со снегом на пол посреди комнаты, курицы лезут к кастрюле и клюют снег. Старик захлопывает форточку, подтягивает табурет на середину комнаты, усаживается и с улыбкой наблюдает за курами.

**СТАРИК**. Зачем они снег жрут? Зачем, зачем... за углом. (Ощупывает большой карман на поле жилета, достает потрепанную брошюру, листает, читает). «Кура голландской породы не теряет репродуктивных качеств круглый год...» Так, так... А вот! «В зимний период воду в поилке можно заменить снегом». Зачем? Да хрен его знает. Может, они так закаляются. Или они, дурье племя, снег за зерно принимают. Порода-то голландская, не нашенская. (Аккуратно складывает книжку в карман). Я их прошлый год купил. (С тоской смотрит на куриц). Так оно веселее как-то. Хотя, говорят, одних кур держать нельзя. А чего нельзя-то?... Ладно. Давайте-ка к себе! Давай, давай!

Старик загоняет кур в курятник, убирает кастрюльку в загон, подсыпает корм в кормушку. Садится на табурет, пытит, переводит дух и трет левую половину груди.

Вообще-то кур в квартире держать нельзя. Не положено. По правилам, значит, коммунального жителя-бытия, по закону. Но я потихонечку. Потихонечку-то можно. Соседи не против. Вроде... Ну, никто до сей поры не лаялся. Только бы в ЖЭК втихую никто не стукнул. А то куда ж я с ними посреди зимы. Ну, орут по утрам, особенно когда несутся. Так не весь же день. За то какая польза — мои девочки всю зиму яйца несут. Ну, срут. Так я это дело с полу соскребаю. Ничего не остается. Я и пол мою. Даже не пахнет. А? Не пахнет? Ну, если немного. Летом навоз на дачу увезу. Ежели доживу до лета...

Роется в карманах, достает конфету, разворачивает, жуёт.

Ну что за конфеты... Говно какое-то... Никакого шоколада. (Морщится, ковыряет в зубах пальцем.) Прилипает только. Тьфу. Раньше был шоколад как шоколад, а сейчас... Только деньги дерут...

Встает, открывает пакет кефира, наливает в кружку и снова усаживается на табурет, отхлебывает.

Я когда молодой был — таксистом работал. У меня везде, где надо, блат был. И на конфетной фабрике, само собой. Там директриса такая была, ну... в общем, краля, на кривой кобыле не подъедешь. Я к фабрике на тачке подкатывал по первому свистку. Денег за вызов не брал, только натурой. (Смеется). Хрен бы она мне дала. Только конфетки. Помню, тогда еще кульки бумажные были. (Вспоминает, трет пальцы друг о дружку.) Из такой коричневой бумаги. Смену, значит, катаюсь, а конфетки лежат себе в бардачке. Домой принесу, а они, заразы, бензином пахнут. Натянуло, значит. Ну, все равно лучше были, чем нынешние. А когда у нас Лёвка родился, краля с фабрики отвалила мне самый шикарный набор — ассорти. Это когда с орехами там, с коньяком. Большая коробка, с видами города. Конфетки съели, а коробка, вон, до сих пор в серванте лежит. Там. В той комнате. (Пауза. Старик мрачнеет.) Лёвка, это мой сын, значит.

Старик допивает кефир, ставит кружку на пол. Снимает очки, долго трет стекла платком, смотрит перед собой, вздыхает и надевает очки снова.

Лёвка... Имечко тоже. Я против был, но моя настояла. Сказала, что Лев — это царское имя. Дура. Среди зверей, может, и царское. А людей так не зовут. Серега — хорошее имя. Александр — тоже ничего. Да хоть бы Толик какой или Леха. Это по-людски. Это я понимаю. А тут Лев. Вот все и испортила. (Пауза.) Я его долго по имени назвать не мог. Ну не поворачивался язык, хоть ты убей! Сын да сын. (Задумывается.) Может, с этого все началось?

*Пауза. Старик вспоминает, улыбается.*

Мы с Лёвкой как-то в лес за малиной пошли. Недалеко тут, за городом. Он тогда вот такую сенький был. *(Примеряет рукой от пола.)* А бидон взял трехлитровый. Мать ему все ведро маленькое подсовывала, а он уперся — наберу бидон. И точка. Сначала у него дело хорошо пошло, а потом, вижу, спекся. Ну, пацаненок же. А тут жара, пауты в морду лезут, кусты колючие. Я ему в бидон, значит, ягоды подсыпаю, а он от меня с бидоном отворачивается, злится, орет: «Я сам!». Ну, сам дак сам. Валяй. Может, и собрал бы полный бидон, только его оса ужалила. Ох, как он блажил, как блажил: «Папка! Папка!» Рожа вся в слезах, руками машет, ну бидон с малиной и опрокинул. Потом проревелся, пошли мы домой, я ему из своей корзины малины отсыпал. Чтобы перед матерью, значит, не стыдно было. *(Пауза.)* Не понравилось ему это. Ну, то, что подсыпал. Обиделся он. А на что?.. Я же как лучше, а вышел кругом виноватый. Больше мы с Левкой в лес не ходили. Он даже слышать про лес не хотел. Злился.

*Пауза.*

Так о чем я? А... Я в том лесу как-то еще раз был. Один. Зря ходил только. Малина со временем изросла, одни пни остались. Вырубка там была. И вот на таком пне я на гадюку нарвался. Руку не глядя протянул, а она не будь дура, мне в большой палец вцепилась. Гадюка, значит, меня цапнула и шур-шур под пень. А я психанул и в ближайшее село побежал, к фельдшеру. Трясусь весь, решил, что хана мне. А фельдшер только посмеивается, говорит, что ничего мне не будет. Она, значит, прямо зубами в ноготь попала. *(Показывает палец.)* Во. Не вру. *(Обижено машет рукой.)* Да ну... Вечно мне никто не верит. Левка и тот говорил: «Папка, че ты врешь?». А кто врет? Я же чтоб интересно было...

*Пауза. Разглядывает руки.*

Хорошо змее. Она кожу сбросит и опять как новенькая. А человек свою шкуру всю жизнь таскает, в солгаче пачкает, в бензине, или еще в каком дерьме. Это у кого как. Короче, до полного износу. Вот смотрю на себя и не знаю, что с этим делать. Сальник бы где какой поменять или масла залить? Если бы можно было. А так... Шкура висит, жилы вздулись. Утильсырье, значит. *(Улыбается.)* А ведь в молодости я красивый мужик был. Я как с ночи приходил, моя пиджак обнюхивала. Проверяла, не пахнет ли другой бабой. А от меня запах всегда известный — бензин. Ну, моя повизжит, повизжит, и ладно. Один раз, правда, разошлась. К сестрице своей на день рождения ходила, видать, перебрала, поддатая, значит, была. Ну, довела, ей Богу. Я ей и дал. В харю. Сразу заткнулась. Пошла нос разбитый в ванной отмывать. *(Пауза, мрачно.)* Ну, Лёвка, значит, видел. А чего? Он же пацан. Должен знать, как бабу осадить. Че визжать-то?

*Старик встает, убирает кружку на стол, нервно переставляет на столешнице склянки.*

Да он и до этого чужой был! Совсем! Другой бы пацаненок со своего папаши так просто не слез, за руль бы просился: «Папка, научи машину водить». А этот за версту машину обходил. Чистюля хренов! Даже ездить боялся. Я его на переднее сиденье посажу, а он глаза от страху выпучит и все на дорогу смотрит. Я на обгон иду, а он жмуриться. И запах бензина он не любил! Куртку свою на другом конце вешалки цеплял, подальше от моей. Чтобы, значит, шоферским запахом не провоняла. Я же видел!..

*Старик включает плитку, вытаскивает из кучи посуды сковороду, при этом что-то падает на пол. Старик со злостью запинывает упавшую миску под стол, ставит сковороду на плитку, подливает масло из бутылки и энергично шаркает к курятнику. Приподняв сверху створку, шарит, достает несколько яиц. Старик возвращается к столу, проверяет, как нагрелась сковорода и замирает в ожидании, взяв одну руку яйцо, в другую — нож. Улыбается.*

Мы как-то с Левкой в Москву ездили. На весенние каникулы вроде. Или зима еще была?.. Мать его из школы отпрашивала. Точно зима была. Я потом просил проводника мясо в лючок, в подпол положить, на мороз, значит, чтобы не спортилось. Ну и время было... Весь дефицит из Москвы перли. Рыба красная, сгущенка, апельсины, шампунь болгарский. Дермальный компот и тот из столицы везти надо было — сливы там, персики. Маде ин Хунгари. Ну, Венгрия. Без Лёвки я бы не обошелся. В два рюкзака мы нормально набрали. Хорошо тогда съездили. *(Пауза, улыбается.)* Я своей тогда часы купил. Там от ГУМа книзу часовой магазин был. В два этажа. Хорошие часы выбрал, с позолотой. Она их, правда, потом потеряла. Вот... А может, пропала. А мне сказала, что потеряла. *(Зло)* Я ей, суке, те часы припомнил...

*Старик разбивает пару яиц на сковороду, ворошит их ножом.*

Лёвка тогда в Москве первый раз был. И чего-то с ним сделалось. Эх, знать бы... Он там на материны деньги каких-то книжек набрал, пластинок. Я эти пластинки потом послушал, дома, когда Левка в школу ушел. Музыка заунывная, старик какой-то под гитару чего-то бормочет, как подавание просит. Я и книжки полистал — а там сплошь стихи. Ну, надо такое нормальному человеку? А потом совсем у него крыша поехала. Рисовать вон придумал. Взрослый парень, а пошел и кучу денег на краски, на кисточки просадил. Одна вон эта доска черт его знает сколько стоит. *(Оборачивается на мольберт.)* Лучше бы с девками на дискотеку ходил. Ну, врать не буду, ходил он на танцы. Даже мать упросил купить ему джинсы. Висели тогда в ЦУМе индийские джинсы по бешеной цене. Девяносто шесть рублей! Бля! Помирать буду, эту цену не забуду. Видать, потому и висели, что цена всех пугала. Ну, можно, нет за эту дерюгу столько ломить? А! Черт с ним! Дал я матери эти деньги. А че? Мужик, пока молодой, должен быть модным. *(Улыбается.)* Сам такой был. Галстучек-плетенка у меня был, капроновый, рубашечка шелковая. Ботиночки узконосые. Красавец. А че? Мой сын хуже, что ли? Я ведь по благу все ему доставал — костюм спортивный купил, дипломаты вместо портфелей в моду вошли — тоже купил, кроссовки венгерские на базе выклянчил. Все у него было. А на танцульки он пару раз сходил и бросил. Сказал, что это занятие для дураков. *(Улыбается.)* Девка, наверное, его бортанула. Дура, точно. Лёвка тогда уже хорош был. Рожа красивая. Высокий. Чуть не на голову меня перерос... *(Вспоминает про яичницу).* Тьфу ты, леший!

*Старик прихватывает сковороду полой толстовки и переставляет рядом на стол, на подставку. Выдергивает плитку из розетки. Долго роется на столе, ищет вилку, находит, протирает полой толстовки, ковыряет яичницу, пробует.*

Тьфу. Посолить забыл. Да что за голова, дырявая совсем.

*Старик солит яичницу, достает из пакета кусок хлеба и с тоской смотрит на табурет, решает — или его к столу подтянуть, или стоя поест? Наконец, злясь и крахтя, шаркает к табурету, тащит его к столу, садится и принимается за еду.*

Одно плохо. Он как в институт поступил, совсем от нас с матерью отошел. В одном доме жили, а как чужие. Мы и здороваться-то в последнее время перестали. Утром встанем, на кухне каждый себе чаю нальет и разоидемся. Ни здарсьте ни насрать. Да мне-то че? И раньше не говорили. И начинать нечего. А только обидно. Ну, спросил бы чего, посоветовался. Хотя... Левка всегда все знал. На все у него ответы были. Вечно нас с матерью ругал — не то мы купили, неправильно бумагу оформили. Все ему не так было! И то, что выпиваем мы с матерью, тоже ему не нравилось. Орал, что в дом никого пригласить не может. Стыдно ему. А че такого-то? Мы же культурно. Для себя. Ну, переберем иной раз, так че?! Я перед своим сыном, перед этим сопляком отчитываться должен, что ли?! Стыдно ему...

*Старик раздраженно теревит и поглощает яичницу, желток течет у него по небритому подбородку, по толстовке. Он пытается утереться и злится еще больше. Быстро доедает и отодвигает от себя сковороду.*

А ему стыдно не было?! Институт, значит, окончил и все дома сидит. Я говорю — ты на работу устраиваться собираешься? А он отмахивался — я, говорит, работаю. Что за работа у него такая? А? Ничего ведь не объяснял, будто брезговал. Сидел и что-то там в своем... этом... тьфу!.. ноутбук стучал. Вот я и говорю, что это за работа такая, когда на работу не ходишь. Я вот всю жизнь баранку крутил. Сначала на такси, а потом, как тяжело стало в ночь выезжать, начальника нашего возил. Так с ним вместе на пенсию и ушел. Отправили нас, значит. Мне на память часы подарили. Они всегда на два, а то на три часа отстают. Я и батарейки менял. А часовщик сказал — не буду чинить, лучше выкинуть. Там все пластмассовое внутри. Китай, короче. А как я их выкину. Память все-таки. Так и живу, значит, по московскому времени. Два часа прибавляю.

*Берет часы в руки, трясет, они вдруг перестают тикать. Старик испуганно снова их трясет, разглядывает со всех сторон. Часы снова тикают. Он нежно ставит их на стол.*

Так о чем это я?.. А, так вот. Таксопарк потом закрыли. Хороший был парк, новый, в четыре этажа, с лифтами. Один хрен, и его приговорили. Сделали из него гипермаркет. Раньше там машины стояли, а сейчас жратву продают. Тьфу! Не хожу туда. Один раз сходил, когда они этот гипермаркет открывали. Постоял, посмотрел, злой как собака. Они смеются, шарики пускают, музыку веселую включили, а я, дурак старый, стою и плачу. Там еще наши мужики с парка были. Ну, взяли мы пару бутылочек. Нет! Не в этом дерьмовом маркете! Вот им! *(Показывает фигу)*. В простом гастрономе. И пошли в гараж к одному нашему. Я там так и заночевал. Ну, хорошенький был. Зато от души. *(Пауза.)* Не то, что Лёвка, интеллигент хренов. Сидит, бывало, у себя в комнате, запрется, по клавишам компьютера стучит, и, значит, коньяк цедит. Видал я у него под столом бутылку. Пузатенькая такая, дорогая. Но трогать не стал. Он, значит, день цедит, два цедит. И молчит. А сунься к нему в комнату, так посмотрит, как бритвой отрежет. Ну, это же не дело! Нет, ты сядь за стол как человек, бутылку на вид выставь, налеп отцу рюмашку, другую, закусочки там поставь, лимончик, колбаски. Поговори с отцом. Так ведь? А он, сука, цедит и цедит, цедит и цедит. Ну, кто ж так пьет?!

*Старик достает из ящика стола бутылку водки, наливает в стакан, роется в карманах, находит конфету, разворачивает и кладет на фантик рядом.*

Я сейчас почти не пью. Так, немного. Ну, че одному-то? Тоска. А мать... *(Пауза.)* Лёвка тогда в Москву уехал по каким-то своим делам. А по каким — не сказал. Как всегда. Рожа, правда, у него довольная была. Вроде как книжка у него там какая-то в издательстве выходила. Видать, со стихами, или еще с чем. Короче, у него тогда уже сотовый появился,

так я разговор его слышал. Про книжку, значит. Ну что я, деревянный, что ли? Порадовался, конечно, матери сказал. Бутылочку мы взяли. А ей как захорошело, она возьми и брякни — рак у меня. Ну, я думал, на жалость давит. А она еще ноет, что в больницу ее не берут, говорят, поздно. А я лишь отмахиваюсь, смеюсь — рак, рак... срак у тебя. Она же на ногах все ходила все, с виду здоровая. Кто же подумает?.. А она возьми да не просясь утром.

*Старик выпивает водку, морщится, берет конфету, смотрит на нее с отвращением и кладет обратно.*

Лёвка из Москвы поздно приехал, похоронили мать. Сидели мы с мужиками, квасили, поминали, значит. Все чин чинарем, с пирогами, с компотом. А он влетел и давай орать с порога. Мол, че мы ему раньше не сказали? Он бы лекарства какие надо купил, в любую больницу мать устроил. А кто ж знал? Он же сам с нами словом лишним не обмолвился? А тут вдруг разорался. Когда уж закопали. Теперь хоть заорись... А потом выпил он с нами, много выпил. И развезло его. Ревел от тогда... Здорово ревел. Как в детстве, когда его оса укусила. Только папкой меня больше не звал... *(Злится)*. Потом он и вовсе меня замечать перестал. Вроде как я в чем опять виноват. А в чем?! Я-то чего?! А он?! Он-то сам!? Да пошло оно все!!! И жизнь эта!

*Старик в досаде машет рукой, достает из кармана наборный, почерневший от никотина мундштук, пачку «Примы», одну сигарету ломает пополам, вставляет в мундштук и закуривает. Долго смотрит перед собой, поднимает глаза.*

А Лёвка потонул... Прошлым летом потонул. Полез на пруду какого-то пацаненка спасать и оба на дно пошли.

*Затягивается, поднимает глаза к потолку.*

Я потом ходил на тот пруд. Там... вон курице по колено. Однако потонул Лёвка. Он, кажись, и плавать-то не умел.

*Вздыхает, снимает очки, вытирает глаза от скучных слез.*

Когда он совсем маленький был, мы с ним любили в шашки играть. В Чапаева. Устроимся, значит, на ковре и давай лупить друг друга, только шашки по всем углам летят. Мать ругается, а Лёвка по ковру катается. Смешно ему. Он у меня всегда выигрывал. Линю за линией. И пальцами так ловко щелкал... А пальцы такие длинные были, тонкие. Не то что у меня, обрубки... А потом перестали играть. Как-то отошла охота, а когда — не помню. Разве запомнишь? Тоже мне событие. Я доску эту, и коробку с шашками долго с комода не убирал. Пыль сотру, значит, посомневаюсь и оставлю. Все думал, Лёвка опять скажет — папка, а давай в Чапаева? Папка... *(Улыбается, потом мрачнеет.)* Не сказал, значит. Потом я так все это баловство и убрал в ящик. Потом уж... когда Левка щетину брить стал. Убрал. Неловко стало. Мне, значит, неловко. Чего-то ждал все, ждал. Вот и дождался. *(Пауза.)* Остались мне от Левки шашки да картинки его. Может, где и книжка его есть. Только я постеснялся у его друзей спросить. Они на похоронах были, такие все... не подступись. И молчали тоже все, говорить не хотели. И правда, о чем им со мной говорить? *(Пауза.)* Вот еще вот Левкины вещички таскаю. Хорошие, дорогие. Я раньше такие даже по благу достать не мог. Только я в них как пацан. Лёвка-то меня перерос. А может, я усох. Вот доношу их и ... все.

*Старик гасит окурок о табурет, аккуратно вытрясает его из мундштука и остатки табака высыпает в банку на столе.*

Чего-то я сегодня устал. Очень устал. Утро вроде...

*Старик долго с сомнением смотрит на раскладушку, но все же не может устоять перед соблазном прилечь. Шаркая ногами, он идет к раскладушке, садится, смотрит перед собой, снимает очки, и они выскользывают из его сухих пальцев на пол, но он так и поднимает их. Старик ложится, отворачивается к стене, и, натянув на голову плед, замирает. То ли спит, то ли помер. Дверца в курятнике вдруг открывается, и курицы одна за другой снова выбирают на волю. Они все так же ходят по полу, стуча когтями, и поглядывают по сторонам своими круглыми глупыми глазами. Запрыгивают на раскладушку, на старика, теребят его клювами... как снег, как зерно...*

Конец.

2010г.

In Memoriam

## Дмитрий Долматов

(1971-1992)



*Поэт, арт-критик, художник, митек, издатель, актер. Дмитрий Долматов — ученик Владислава Дрожжих и Виталия Кальпиди — был самым молодым представителем пермской поэтической «новой волны». Друг музыканта Евгения Чичерина и художника Вячеслава Остапенко, он стал связующим звеном пермского поэтического и художественного андеграунда. С его уходом в искусстве Перми завершилась карнавальная позднесоветская эпоха. Тексты Дмитрия Долматова опубликованы в единственном посмертном сборнике «Стихотворения» (1992), с которого началась серия «Классики пермской поэзии». А также вошли в «Антологию современной уральской поэзии» (1996). Представленные здесь стихи, фрагменты писем и воспоминания — первая в Перми за двадцать с лишним лет развернутая публикация в память о поэте. Все стихотворения сверены с рукописными и машинописными источниками. Редакция выражает благодарность Семену Соснину, Елене Филимоновых и Анне Сидякиной, без чьей помощи эта публикация не состоялась бы.*



Вот и готова опора  
Для кришнаитов любви  
Для инвалидов бессонниц  
Выпита до половины  
Чаша рыбацкого эля  
Или мы будем в раю  
Или болтаться на рее  
Лёгкой поземкой несётся  
Стайка твоих поцелуев  
Мёртвое море проснётся  
Красное море ликует  
Так поднимай паруса  
На легкокрылой триере  
Завтра мы будем на дне  
Завтра мы будем на небе

\*\*\*

Когда в безжизненной ночи  
пройдут ракеты,  
воскреснут в маленькой печи  
твои приветы.

В зияющей любви миров  
сгорает вечность,  
как в черной пропасти дворов  
твоя беспечность.

И миллиарды человек  
смеются в дымке.  
И все периоды парсек  
несутся в дырки.

Вся эта суета сгорит  
в огне от спички,  
и бог опять его простит  
в силу привычки.

Часы  
Где звуки содержат слова?  
Где сон превращается в пламя?  
Где ты видела Рай или Рим?  
Во мне!  
Где дорога ведущая в доли на сосне —  
Там, где крапичный косм на стене,  
из колёсиков, гаечек, тактов и звуков.  
Но скорее из девок, ветра и смеха.  
Где научиле дружки —  
золотые улитки  
где на кухне в углу  
Поселились морщинки.  
Где тусуются четверо, возмужав,  
Наблюдая картину <sup>в</sup>четого сна.

\* \* \*   
Поля матрасных элюаров,  
В винтомоторной чехорде,  
Анаморхисты в филинских лодках,  
Весельепланерных улётках,  
Оптический бред и эффект,  
Крутит в рассветной черноте.  
 Свет зажигается.  
Заря  
Восходящих очельник  
гора,  
Он рассыпается. И вот  
Рождается  
Нележгин Гора.  
М 

## Фрагменты армейских писем к возлюбленной

Март 1989 г.

... мы всё пишем как бы в долг, даже смешно...

Мне такие волшебные сны про нас снятся. А может быть, мы на самом деле Там так живём. Хочется верить. А я ведь, на самом деле, ни разу (даже совсем) не попал никуда. Солдат должен любить автомат как женщину, и ухаживать за ним, а я любил, любил, один день, или даже два, а всё равно он ржавый...

Знаешь, здесь совсем гопников нет, хотя на самом деле (не в армии), они бы, почти все, с радостью бы нам вломили — странно, смешные, наивные ребята. Я совсем не могу, когда нельзя ходить одному хоть куда — это самое страшное...

Снится, как на море и 100 тыс. никого-никого, ты на меня не смотришь и я тоже, но, хоть за миллион км, а сердце видит, и Станов летает, а все ещё пьют кругом, много-много ещё так же. БГ хочу, и Дюшу, и Митю, только воевать противно и большевики — тоже. Мы будто все под колпаком, только я под маленьким, а вы под большим, вроде бы иди иди куда хочешь, а никуда не пойдёшь, только к тебе, только к богу, а бог взял и разбежался, и никто не знает куда...



Апрель 1989 г.

...Я стал толстый-толстый и сплю целый день, читаю и пишу такую бяку, чтобы только хоть что-то писать. Я же говорю — мы разбиты совсем. В поколение (потерянное; 70-х) прошлое, уже не подошли, а новое... (где оно ещё?). Пошло, ёлы-палушки...

Господи, как время летит, как тащится; день, день, день. Как гекзаметр Гомера, волна на заре спадает, и ты с прозорливостью альпиниста штурмуешь гребень следующего вала

(перевала если хочешь), и объевшись к вечеру (уже догадываясь), махаешь на всё рукой (завтра; вот / — удивительное слово-переливашка / с завтрава — точно) плюхаешься на песок, где-то около ужина [тяжёлый, неуклюжий стиль — как до такого докатиться можно?].

Кажется, что жизнь там, у вас; а тут — время, его надо проживать, чтобы в конце обрести тебя, Станчик, свободу, Женюшку, славу (или в обратном порядке — никто не решится определить это).

Камикадзе, направивший (наконец-то) свой самолёт (но он пацифист) в пике, не долетев до цели (может быть, даже прямо на аэродроме). И вдруг полюбил жизнь, свою невесту, друзей. — Прыгай, дурак! — Любить целых 37 секунд. Вот... .. Тащат окровавленные исковерканные... и этот мясной колобок просящий убить, убить, дать пистолет; сам боится, что ему поверят и помогут. (А вдруг...) ...Никто тебе не простит, даже за твою гениальность (что под гигантским вопросом). Только дуэль...

...постарайся найти и выписать основное о Витгенштейне (философ. языка, что-то об этом) — посмотри в Антиискусстве (помнишь об авангарде книгу). По-моему, к нему близок и Гуссерль — попробуй найти, что-то об их школах хотя бы основную (как в энциклопедии). Ну, там и так очень мало. Там должно <быть> о влиянии языка (на совр. этапе) на развитие общества, цивилизации. Может быть, структурализм Леви Стросса тоже касается...

*Июнь 1989г.*

...Все поэты будут в аду... Судьба. Парки знают своё дело...

Сестричка, бог мой, я опять пишу тебе. Какой сегодня день, не знаю, и где я — не знаю. Если судить по запаху хлорки и ужасной сырости, то где-то в районе Ипра, первой мировой. По радио что-то про Сталина; по телику — про жуткую победу; про перестройку. Теряюсь в догадках. Только бы поймать время — вспомнить. Звонил тебе, только когда? Сегодня, неделю назад, 100 лет прошло?

Жаль... (это я по сторонам посмотрел) — Коммунизм так и не построили... В голове ангелы под маленький органчик сумасшедший твист завертели; оглушили меня совдеповские праздники.

Шуба-дуба.

Чёрная весна какая-то, а осенью яблоки будут — я осень люблю. И тебя... как осень... А ещё я плыву; Вена, голубая кровь — река, лезвия мостов между рождением и (сама понимаешь), сам — вдох между берегами. И весело, и радостно — не страшно ничуть. ...А Славка с «Политбюро» провалились в правительственной санатории. А Юрка Беликов у меня биополе замерял. Оказалось обычное...

(О господи! Зашла толпа, все в диких пижамах и говорят не по-нашему! Только ничему не удивляться). А до этого 100 лет — тишина. Ни звука. И тебе звонил; только сладостная тревожная теплота растекается по телу, и проходит всё: органчик тает, мосты разводятся, я глупости говорю (ну это ничего), потому что вокруг полно врачей и больных на костылях и тележках. Кричу всякую митьковщину и Витгенштейна вслух (а сказать-то одно хотел: Сестра моя.) Но ты всё понимаешь. Положил трубку и как Наполеон после египетской компании. А они рты открыли, ну как же, не каждый день живые поэты с любимыми людьми разговаривают. А теперь всё спать, спать, спать.

Жуть не люблю всяких поэтов. Мне кажется, что в аду ещё один круг должен быть, для них специально (не далеко, конечно; рядом с чистилищем) какой дурак себе хуже делать будет, ведь и мне туда прямая дорожка... Видишь, какой я стал сентиментальный и невеселый — это пройдёт, это болезнь такая. Поживи-ка в совдепии после нашего мира. Тут грязь одна. «Мы встретимся там, где нет темноты», — братик.

## Воспоминания

### Диме нужно делать уроки, а тут мы сидим

Дома у Татьяны Долматовой на одной из частых праздничных встреч я Диму увидел впервые совсем мальчиком. Был 84 год. Праздновали мы тогда часто и, казалось, весело. Диме нужно делать уроки, а тут мы сидим — «Молодая гвардия». Всегда шумно, «о главном», с чтением вслух и слушанием. Ели мало, пили много. Дима во всём этом вынужденно варился и позже нисколько об этом не жалел.

Дрожащих он выделял изо всех особо, имея в виду не просто человеческий фактор (тогда было важно, что создаёт каждый, а не какой он «хороший парень», многое прощалось за талант). Так вот пластика и манеры Славы на Димку легли естественно, приняли новую, уже совсем «долматовскую» форму.

Хорошо помню: как-то в галерее и около неё в тёплое время года происходило что-то весёлое, ряженое, «футуристическое». Долматов, Чичерин, Стаканов — эти трое, по тем временам, были заметны на общем фоне (одевались вызывающе, такие смешные были, как Маяковский в период «Бродячей собаки») — читали свои тексты. У Димы тогда уже сформировался густой низкий голос.

Димка перед армией заходил ко мне в мастерскую обычно с компанией. Что-то обсуждалось и выпивалось, далее — «по штатному расписанию».

Пришел после армии он повзрослевший, со стабильным чувством юмора. Мы встретились на остановке, я встал по стойке смирно, взял под козырёк. Дима подошел строевым шагом, откозырял, доложил по уставу о прибытии в запас из рядов СА. Пошли в мастерскую, попили чаю. Он интересно сформулировал тему: армия — игра, у неё свои правила, и их, как в любой игре, нужно соблюдать. Просто играть по правилам и всё. Это отношение к армейской жизни, как к игре, ему очень помогло выжить в «рядах».

Когда рисовал иллюстрации к его книге стихов, волновался, как получится — ни до, ни после в подобной манере не работал. Портрет придумал сделать в каллиграфической пластике. Нарисовался он у меня с третьего раза. По памяти. Оказалось — в память.

*Вячеслав Остапенко (Санкт-Петербург)*

### Нездешний садовник

С Митей Долматовым мы сверстники — он младше меня ровно на месяц. Но и при этом, и при всём нашем приятельстве в младостуденческие годы редко от кого у меня возникало ощущение столь загадочного, непостижимого, далёкого от меня существа из другой Вселенной. Со всей дурною силой своей коммуникабельности я пытался установить с ним более личные и глубокие отношения, пытался нащупать в этой душе хоть какие-то понятные мне рычаги и рукоятки, чтобы открыть каналы духовного сообщения на всю мощь. И не мог, поскольку не получалось найти никакого применения тем таинственным штукам, что я там обнаруживал. Это было тем более странно, что его стихи в большинстве своём казались мне открытыми, по-детски ясными и прозрачными. Я был в те годы, кажется, весьма рафинированным интеллигентским мальчиком, довольно начитанным и целиком устремлённым к интеллектуальным и художественным идеалам, но вот однако... Дело даже не в том, что Митя читал иное — всяческую авангардистскую метаметафорическую поэзию, был в восторге от

какого-нибудь только что опубликованного «Замка» Кафки — он вообще был как-то не о том, не про то, совсем мимо, из иных сфер.

Мы познакомились осенью 1987 года, оба будучи первокурсниками, встретившись всё в том же университетском театре «Отражение». Я впоследствии задержался здесь почти на десятилетие, вплоть до кончины театра, а Митя был с нами всего лишь один год. Он сыграл единственную роль в спектакле по пьесе Федерико Гарсиа Лорки «Когда пройдет пять лет». Это была роль моего слуги Хуана. По мере развития действия прояснялось, что Хуан в причудливом лорковском мире — вовсе не какой-нибудь обслуживающий домашний персонал, а олицетворение самого Времени, реальный хозяин и снисходительный наблюдатель за происходящим мельтешением героев. Воплощаемый Митей образ становился к концу спектакля всё более многозначительным и мрачным. «Который час, Хуан?» — спрашивал я, нервный, мятущийся, издёрганный страстями юноша несколько раз за спектакль. «Ровно шесть, сеньор», — спокойно и безнадёжно отвечал мне раз за разом Митька, как будто знал наверняка, что уж для него-то время точно вскоре остановится там, на излёте юности, и сдвинуться ему будет не суждено. И теперь, когда прошло уже не какие-то 5 лорковских, а 25 полновесных лет, митькин голос вечно преследует меня, когда я бросаю взгляд на часы и опять раз за разом обнаруживаю стрелки вытянувшимися в вертикальную линию. «Ровно шесть, сеньор», — всё также отстранённо, с памятной до сотой доли тона интонацией говорит мне Митя Долматов из нашей с ним юности.

Весной 1988 года, после премьеры «Когда пройдет пять лет», в нашем театре родилась идея сделать самиздатовский журнал под названием «Дебаркадер». Редактору — Олегу Гельфанду — понесли разнообразные рукописи, преимущественно поэтические. Талантов было пруд пруди... Изданию так впоследствии и не суждено было появиться на свет. Но тексты из него ходили по театральным и околотеатральным рукам. Вот тогда в нашем кругу впервые и были осознанно прочтены и оценены стихи Долматова, который предстал в тот период под псевдонимом Тима Томаткин. Они заинтересовали нас настолько, что среди авторов несостоявшегося «Дебаркадера» тут же появился «Брат Тимы Томаткина». За этим прихотливым именем скрылся Андрей Гарсиа.

...Уход из театра ознаменовал уход Митьки отовсюду, из всех сколько-нибудь официальных институций, включая учёбу на университетском филфаке. Его увлек поток свободного до полной космической невесомости творчества, каких-то бесконечных высокохудожественных пьянок, тусовок, поездок, поэтических фестивалей, хлынувшей из Питера митьковщины, встреч, рок-концертов... Где-то рядом с ним, в протуберанцах пьянящих свободой и алкоголем перестроечных испарений, веяли Кальпиди, Ерёменко, Дрожащих, Парщиков и прочие значимые для него поэтические фигуры, принявшие его в свою когорту и вовлекшие в свою орбиту. В этот период мы с ним общались иногда на всяческих художественных мероприятиях. Порой Митя в обществе Стаканова и других ярких персонажей забредал на наши репетиции в актёрский зал главного корпуса ПГУ. Каждый раз его облик был необычайно экстравагантен. Впрочем, сказать «экстравагантен» — ничего не сказать. В тот период Пермь вместе со всей провинциальной Россией была ещё крайне консервативным местом. Молодой человек с какой-нибудь несчастной серёжкой в ухе выглядел скандально и вызывающе. Забирая волосы в хвост, я, помнится, испытывал на себе тяжёлый пресс взглядов прохожих. Жителю нового века можно лишь отдалённо представить себе, какой же тогда фурор производил в советском городе Перми Митя... Митя, который невиданным образом заплетал на голове не один, а целых два хвоста! Или единственным в Перми постригся по западной моде под горшок, выбрив сзади половину затылка. Или когда он как всегда спокойно и отрешённо глядел на ротозеев сквозь очки, сделанные из больших ситечек. Обыватель впадал в тяжёлый ступор...

Драматическим последствием выпадания из официоза стала армия. Он легко мог избежать её: все те, кто, как мы с ним, родились во второй половине 70-го года, то есть не попали

в весенний призыв-1988, перешли на второй курс, благополучно угодили под ельцинский указ и в армию в итоге не отправились. Надо было лишь перевестись на второй курс!.. Но вольный художник Митя не считал нужным ни сдавать сессии, ни бегать от военкомата. Наказанием за этот свободный полёт стал стройбат.

Мне страшно думать, что пережил в армии поэт Дмитрий Долматов с его душевной организацией нездешнего жителя. В нашем кругу был кем-то брошен клич поддержать его письмами. Я тоже написал. Он не ответил.

Хорошо помню случайную встречу с ним по его возвращении. В университетском городке, на улице Генкеля, возле химического корпуса... Он, кажется, не узнал меня. И выглядел он — то ли не в себе, то ли ещё больше не здесь. Уже не здесь.

С тех пор он стал как-то всё больше куда-то теряться, блуждать, уходить, растворяться... Пока не исчез совсем. Помню, потом, когда что-то с его смертью прояснилось, я приезжал на ту самую станцию Комарово под Питером, пытался найти его могилу, спрашивал у местных про парня, погибшего под электричкой, исходил всё комаровское кладбище, стократно как к заколдованному месту возвращаясь к могиле Ахматовой. А Митьки не было и здесь, — он, кажется, и в тот посмертный час с отстранённым недоумением смотрел на меня, точнее, опять сквозь меня откуда-то с вершин своих пронзительных сонетов.

И ещё одна всплывающая из памяти картинка. Весна, должно быть, 1988-го года, какая-то весёлая пирушка у меня дома на Межевой. В завершение её я предлагаю для продолжения хеппинга всем выйти и посадить у меня под окном пару саженцев, которые пустили корни в бутылках на окне. Мы всей компанией вываливаемся на улицу. В фокусе моей памяти — стоящий у моего подъезда Митя с веточкой тополя и лопатой в другой руке. Он так держит этот саженец, так отстранённо смотрит на него, что я своим инфантильным юношеским разумом всё же с внутренним трепетом прозреваю: нет, этому дереву в его руках не суждено вырасти. Этот садовник рождён для каких-то других, нездешних посевов. И никто до поры не скажет, сладок ли будет их урожай.

*Роман Юшков (Пермь)*

### Как Дима был редактором журнала

В начале 1988 года в пермском универе собрались любители театра. Основанная в 1984 году Дмитрием Заболотских театр-студия «Отражение» ставила под руководством Вадима Осипенкова спектакль «Когда пройдет пять лет». В поэтическом и сюрреалистическом спектакле по пьесе Лорки играть могли люди, искренне любившие поэзию. И почти все они писали стихи — наивные, но искренние и щемящие. А самые яркие писал совсем молоденький мальчик, семнадцатилетний первокурсник Дима Долматов. Стихи, в основном, были абсурдистские, немного напоминающие Хармса, но с особенным, присущим Диме соединением абсурдного и лирического.

И вот кто-то предложил издать журнал из наших произведений. Название для журнала выдумал я — «Дебаркадер». Плавающая пристань, к которой каждый может пришвартоваться, если захочет, таков был смысл названия. Для Перми — города на великой реке Каме — это название особенно подходило. Вроде бы всем это название понравилось, включая режиссера Вадика Осипенкова, который свои стихи в журнал не дал, но очень приветствовал идею и радовался этому шумно и весело, как ребенок.

Редакторами журнала стали мы троим: Дима Долматов, Лена Филимоновых и я. Лена, как самый опытный филолог из нас (она училась на третьем курсе филфака, Дима — на первом, а я вообще не филолог), была главным литературным редактором и корректором.

Дима был творческим редактором, оценивал «тексты». Дима приходил ко мне домой поздно вечером, когда я уже собирался заснуть, и пробуждал заново мою творческую активность всегда одними и теми же словами: «Вот, я принес новые тексты». Говорил он всегда тихо, и мне поначалу приходилось переспрашивать. А сам я исполнял функции организатора процесса — собирал «тексты». Организатор из меня никудышный, и, наверно, этим можно объяснить факт, что журнал никогда не вышел.

Почти все «отраженцы» притащили свои стихи или рассказы. Но самые интересные стихи принес Дима. Он с детства был вхож в поэтическую среду, был знаком с ярчайшими поэтами пермского авангарда — Виталием Кальпиди, Владиславом Дрожащих и юным Сергеем Стакановым. Я был поражен качеством и силой стихов этих поэтов. Именно их «тексты» должны были составить ядро журнала! Особенно я восторгался стихами Виталия Кальпиди. Ни с кем лично из них, кроме Сергея Стаканова, я знаком не был. И они представлялись мне далекими классиками. А Дима рассказывал о них, как о близких знакомых, и это было очень интересно.

Пристально Дима изучал каждый «текст», годится ли он для нашего высокохудожественного журнала. И никогда ничего не «выбраковывал». Я с ним соглашался: материалов катастрофически не хватало. Но потихоньку набралась довольно большая кипа — искренних и очень страстных.

Несмотря на то, что я был на шесть лет старше Димы, я стеснялся его. Он уже тогда представлялся мне настоящим поэтом, а сам себе я казался графоманом. Завораживал и его тихий голос, и стихи, и знакомство с маститыми поэтами! Наш журнал никогда не вышел в свет, но осталось светлое воспоминание юности и «тексты», которые до сих пор хранятся в тайнике у Лены Филимоновых.

*Олег Гельфанд (Иерусалим)*

### На последнем дыхании

\*\*\*

Долматов очень быстро ходил — я едва за ним поспевал, когда мы были в конце восьмидесятых в Москве и Ленинграде. Он, видимо, хотел успеть за день во много мест. Я помню, даже злился на него из-за этой спешки. Несется в своем зеленом болоньевом плаще, а я следом наверстываю. Пару раз я пытался возмущаться, Долматов сбавлял темп, но вскоре снова разгонялся. И я понял, что бесполезно что-то регулировать в плане скорости. Это должно быть, являлось частью его сути — стремительность.

\*\*\*

Долматов первый раз вытащил меня в ресторан, мы вроде даже с лекций туда ушли, когда учились на филфаке. А может и нет, не было никаких лекций. Мы в обеденное время туда заявились — в «Камские огни». Взяли салат, пиво. Год 1988-й был примерно. И пиво было вообще редкостью в продаже, и в ресторане его тоже, подозреваю, могло не быть. Ну, и вот. Мы там уселись, и меня поразило, что в салате рыба — из консервов. Вроде как ресторан, и так готовить салаты — вытряхнув рыбу из консервной банки, это несерьезно. Ну и вообще, для меня это был культурный, так сказать, шок: выпить пива в обед.



\*\*\*

В Москве в конце восьмидесятых мы остановились в мастерской у Андрея Безукладникова. Он тогда располагался, если не ошибаюсь, в театре Васильева. Безукладников выделил нам какую-то каморку — довольно уютную и выдал еще плеер, который мы с Долматовым слушали на пару. Андрей нам порекомендовал музыку, которая была в нем на информационном носителе — группа Art of Noise.

\*\*\*

Тут в ответ на мой «мемуар» про Диму Долматова заметили, что я, мол, только про пиво и вспомнил. И действительно, чего это я только про пиво? Мы периодически ходили друг другу в гости, хотя я к Долматову — чаще, и все о чем-то говорили — наверно, о стихах и современном искусстве, о том, что неплохо бы издать свой журнал поэзии... Хотя, скорее, тут не было стройной концепции общения, а просто молодежная рефлексия на окружающий мир, завернутая в свойственный возрасту максимализм и нигилизм, и созвучный времени — постмодернизм с его побочным эффектом под названием «стеб». Немало было и маргинально-декадентских устремлений, подчеркивающих и придающих особый вес — в собственных глазах, прежде всего, роли интеллигента и, в частности, поэта в провинции. Я лично другого мира, кроме провинции, тогда и не знал, да и сейчас не большой ездок по странам и континентам. Ну и вот. А Дима снабжал меня всякими книжками... Точно помню, что двумя снабдил: «Роза мира» Андреева и книга про современную западную архитектуру, которую он мне подарил с подписью, начинающейся примерно так: «Сергею, архитектору...» Сочинение Андреева произвело на меня большое впечатление: до сих пор меня поражает то мастерство, с которым в «Розе мира» преподнесена, как на блюде, мистическая суть препарированной реальности. Обсуждали, наверно, с Долматовым и всякие такие, извиняюсь за выражение, ноосферические вещи. Если бы говорили о колбасе и курсе доллара, то, возможно, все это бы и более структурировано отложилось в памяти, но на то она и тонкая материя, чтобы рассеяться со временем — да и не через годы, а через пару секунд.

\*\*\*

Помню, Дима договорился в школе на улице Карла Маркса о поэтическом выступлении, и я там после этого мероприятия раздал свои рукописи ученикам, и одна из школьниц указала мне на грубую орфографическую ошибку в моем произведении. Вот это врезалось мне в память и то, что Долматов с такой легкостью договорился о нашем поэтическом вечере. Не знаю, как Долматов, а я читал на публику стихи в первый раз.

\*\*\*

Еще мы были с Долматовым в Воронеже, в рамках какого-то экологического проекта. Нужно было поучаствовать в некоем семинаре или что-то в этом роде — не помню. Помню только, что я решил вернуться в Пермь, а Дима полетел куда-то дальше: в рамках той же экологической миссии или уже по каким-то своим делам. Там мы и виделись, если не ошибаюсь, в последний раз: в зале ожидания воронежского аэропорта. Таким я Долматова и запомнил — всегда в пути, вечно неугомонным.

*Сергей Крюков (Пермь)*



### Дык...

Обозначим эпоху. На днях я шла на междусобойчик к подруге Лине, но по пути зашла в дом бывшего друга — ныне богатого бизнесмена — занять денег. Денег мне дали немного, но еще подарили четвертинку арбуза и кисть винограда (детям). Когда я вошла в дом Лины, рассказала ей о жизни богатого бизнесмена, она заметила: мы опять чужие на их празднике жизни. А надо сказать, что во времена застоя, когда 1 мая за окном шумела демонстрация и по ТВ тоже шумела демонстрация, мы так обычно говорили: чужие на их празднике жизни... И вот — снова чужие. Нечужими на празднике жизни интеллигенция и мы были только во времена горбачевской перестройки, когда нужно было бороться с пережитками коммунизма, но еще не было ясно, кто кого... Вот во время этих блаженных лет и протекало мое знакомство с Митей Долматовым. Мы познакомились новым, возникшим в эту эпоху способом, — по объявлению. А объявление дал Митя. Он повесил его на двери касс кинотеатра (кажется, «России»). Ко мне в гости пришел Толя Краев и сказал: списал для тебя вот адресок — тут какие-то авангардисты приглашают журнал организовать. А надо сказать,

что в этот день я как раз получила отказ из «Знамени» — рассказ «Старики» о придворных революционерах-«вспоминателях» Ленина — «Знамя» мне все же вернуло. Сначала взяли, а потом написали: нет, он все же слишком острый для нас. Я еще бегала по квартире и замирала в безумной ленинской позе (памятники ведь не только его отливали, но и наши движения — надиктовали тоже): «Ну вот и перестройка — острый для них, видите ли, рассказ!..» И тут же послала его Мите Долматову. Вскоре Митя пришел, представился, вернул мне рассказ и сказал, что для них он слишком банален!!!

Так сразу обозначилась разница между моим поколением и Митиным: для них банальным оказалось то, что для «Знамени» еще казалось слишком острым. А я, значит, где-то посередине мыкалась — не сладко, конечно, но что делать?! Стали мы делать то, что умели — разговаривать. О книгах, конечно. И я тут же попыталась подарить Мите несколько новых вещей (возможно, Ходасевича, не помню точно). Но подарки не прилипали к нему. В этом был какой-то фокус — я и то, и другое предлагала, нахваливала, а все равно собственность словно отскакивала от Мити, точнее, от его поколения (потом то же было и с его друзьями — книги уже не были для этих мальчиков ценностью в виде собственности, как для нас). А надо сказать, что кроме дарения книг, я ничего не умею, то есть умею еще только одно — смотреть. И стала я смотреть на Митю.

Как он сидел? Он сидел совершенно не так, как сидят мои друзья! Говорят, что раскованно сидят иностранцы, американцы вообще любят ноги на стол положить. Но Митя сидел раскованно не так, как иностранцы! Локти, как крылья, он заводил за спину, а ноги поджимал по очереди под себя, как йоги делают. Но и на йога Митя не походил при этом. На кого же? На самого себя и только! На свои стихи, конечно, вот на что это было похоже!.. Его стихи запоминались с первого прочтения, а кто еще может похвастаться таким отличным качеством, а?!

...Идет восьмая мировая:  
Митьков разбитые стада  
Сдают без боя города...

Как митек Митя был в тельняшке и, конечно, в октябратских звездочках, разноцветных прищепках на волосах вместо заколок (бельевых прищепках — поясняю для тех, кто не знает Митю периода прищепок). Моя дочь Соня стала писать его портрет на доске: в тельняшке — это так ритмично, с октябратскими звездочками, а вот фон какой? Фон тоже делает картину, как окружение делает короля. Митя, спросила она, что бы вы хотели видеть на фоне? «А пусть человек несет знамя, на котором написано МИТЬКИ», — сказал он. И Соня изобразила маленького митька, который без усталости несет знамя. «МИТЬКИ» А что же на самом деле написано на знамени у митьков-то? А там написано волшебное слово: «дык!» С него начиналось объявление Мити: «Дык! Братишечки и сестреночки! Дык приходите в «Гриффушечку»...

А что значит это «дык»? Оно непонятно и в то же время достаточно конкретно, в нем и конечное и бесконечное, инь и янь, добро и зло, чисто русское по своему происхождению, даже крестьянское, оно органично звучит из уст питерского митька с высшим образованием. Это и вводное, и союз (сродни противительному «но»), в то же время его можно использовать как обращение и приветствие. В нем все богатство значений нашей эпохи и кровная связь с предыдущей. Одно слово: ДЫК... Когда мне редактор толстого модного журнала написал в прошлом году: «Нина, дык, твою повесть прочел, дык, начальство, дык, сама понимаешь... дык...» То есть начальство не в восторге, но мне и раньше писали про начальство, а вот с «дык» как-то роднее — пароль такой получился... Ты шлешь повесть, тебе отвечают: «дык». Ничего не напечатали, а приятно...

Митя закружил моих старших детей в водовороте созданных им событий: устроил где-то Сонину выставку, куда-то увлек Антона: кажется, на вечер поэзии, привел в дом своего друга Стаканова, который уверял, что митьки живут на 21 коп. в день, и Соня тут же села писать портрет Стаканова, на фоне там летали монеты достоинством в 21 копейку. Потом Митя привел художника Сережу Аксенова, который сам писал наши портреты, потом... Потом Митя ушел в армию. И мы стали переписываться. Он слал стихи, а я — сейчас вы засмеетесь — слала ему фотографии «мисс Эротика» из «Советской молодежи». По тем временам еще редко можно было найти такие фотографии, и я писала Мите: ты их меняй с солдатами на сигареты или сладости! А муж мне говорил: вдруг ты переоценила Митю, и он не будет их менять, а будет любоваться, волноваться! А я отмахивалась: Митя умный, он не станет волноваться!..

Потом в письмах замелькали тяжелые признания, как их учили разгонять демонстрации, но я в ответ писала что-то о том, что стихи все это перемелют в своей мясорубке. В общем, я отнеслась к нему как к сильному человеку, ведь для него было банальным то, что для «Знамени» было острым... Эту ложную мысль о его силе я поняла во всей ее чудовищности лишь после его смерти. Как будто поэт может быть сильным перед машиной армии!.. Что на самом деле там с ним произошло, я так и не поняла. А ведь по приходе из армии он ни с кем почти не разговаривал. Я-то детям говорила: вот Митя пришел, когда к нам-то он закатится?

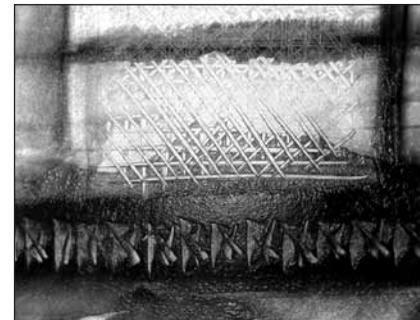
Предвкушая что-то беспечное, поэтическое, вроде прищепок... А ничего не было. И Митя никогда к нам не пришел. Я с ним встретила уже летом, может, осенью 91-го, в «Инициативе», в очереди за гонораром, и... Митя меня не узнал. Или вид такой сделал. Я, впрочем, сильно изменилась за это время, потому что у меня сын шел по уголовному делу, жизнь ко мне повернулась не самой солнечной — прямо скажем — стороной, поэтому и обижаться на Митино неузнавание я не стала, а просто сказала: значит, так мы меняемся... Ну и про свои горести что-то. Он обещал прийти в гости, но тоже не пришел. И потом я узнаю: Митя погиб... «Дык», — сказала я... Его смерть, как это «дык», и непонятна, и понятна, конечна, как факт из прошлого, и бесконечна в смысле нашего горя, которое за год не уменьшилось... И нечего сказать, кроме этого гениального: «Дык!»

*Нина Горланова (Пермь)*

Проза / Рассказ

Екатерина Гашева

## Двери закрываются



*Маме*

### 1.

— Вот мы сели на подножку! И с собою взяли кошку! Мама, а что такое подножка?

Это которая под ногами? Да?

Но мама не слышит, она ревниво распахивает сумки, яркий Симин рюкзачок, курточку на крючки и полки вокруг. Кошка царапается в закрытой пленкой корзине. Если очень зажмуриться и можно предположить, что в корзине тигренок, или даже дракон.

— Мяу...

Нет, драконы не мяукают.

— Мама, а почему драконы не мяукают?

Мама усаживает Симу на скамейку у окна, расшнуровывает ботиночки с бабочками.

— Потому что они рычат.

Электричка трогается. Сима залезает с ногами на сидение и смотрит в окно.

«Прощай, прощай, вокзал, прощайте все», — хочет сказать она и не может. Еще не придумались нужные слова. А электричка начинает стучать все быстрее и быстрее. И дух захватывает от ветра.

Сима высовывается и пьет его прямо из потока, но мама одергивает ее и закрывает окно.

Сима оглядывает пассажиров. Их не очень много и все они интересные. Жаль, только детей нет.

Зато есть девушка в серебристой ветровке и с прозрачным портфелем. Сквозь прозрачный пластик можно было увидеть, что

внутри он весь набит печеньем в разноцветной глазури.

Девушка поймала взгляд Симы и улыбнулась. У нее была такая светлая кожа, что видно на виске дрожащую жилку.

Сима живо перегнулась через спинку скамейки, и продолжила изучать содержимое ее портфеля.

Девушка кивнула, щелкнула молнией. Вытащила печенье в виде сердечка и протянула его Симе.

— Это сердце, да?

— Это мое сердце. Я их пеку, потом раздаю, — девушка растеряно поглядела на маму Симы, — у меня еще много...

— Но сердце же здесь? Да? — Сима прижала руку к своей футболке.

— У тебя там, а у меня тут, — девушка потрясла портфель. Сладкие сердца застучали. У некоторых оказались отбиты глазурные краешки.

А в это время тьма сгустилась за окнами электрички. И кто-то невидимый включил лампы под потолком. Живые ясные огни сливались в полосу, если смотреть из этой тьмы.

Дерева шатались, охваченные внезапным волнением. Электричка подлетела к перрону. Девушка с портфелем кивнула Симе и выскочила в тамбур.

И вот она уже на перроне, который освещает только одинокий качающийся фонарь с одной свечей.

Девушка поправила наплечный мешок, накинула на голову капюшон плаща. Начался дождь, и только где-то вдалеке ярким всполохом горел костер. Кого-то жгли на площади.

Сима осторожно попробовала липкое от ее собственных рук печенье. Мама припала к стеклу, но было уже ничего не разобрать.

Кошка в корзинке тревожно заметалась. Тогда мама вынула ее из корзинки и усадила себе на колени. По шерсти кошки пробежали искорки. Кошка заурчала.

Сима тоже положила голову маме на колени.

— Ну, вот и две кошки пришли, — сказала мама.

А электричка все неслась вперед. Сима видела, как светлеет за окнами. Она прикрыла глаза и стала слушать. Время вокруг электрички менялось, и на перроны выходили разные люди с разными жизнями.

— А мы на дачу, — прошептала Сима и уснула.

Сима спала, а ее мать следила за тем, как входят и выходят люди из электрички. Она видела, как проплыл за окнами разрушенный город, как низко пролетел самолет. Сима вздрогнула, но не проснулась. Она никогда не просыпалась от страхов мира. Или мама просто умела пока еще ее защитить.

В прошлый раз, мама точно помнила, этот город процветал, а вот теперь. Те двое, что соскочили на перроне, сразу же получили в руки оружие, кинулись отбивать бессмысленные редуты, держать неведомую оборону.

Сима проснулась только когда за окнами садился блестящий космический корабль.

— Ой, мама... — только сказала Сима, — а они тоже на дачу летят?

— Космические кабачки сажать, — ухмыльнулся старик, который сидел напротив них.

— А мы с мамой кабачки не сажаем, — ответила Сима, и припала к окну. Электричка как раз влетела под виадук. На мосту стояли трое, они пили вино из высоких со звоном бокалов.

— Мама! А я видела, как девушка полетела! Она прямо с моста взяла и улетела.

— Глупости... — сказала мама.

— Нет, не глупости, у нее крылышки открылись....

Старик засмеялся.

## 2.

Свет проходил сквозь стеклянную стену и превращал воздух в воду, а пыль в луче в маленьких рыбок. Машка мелком постучала по стене, она сидела на веранде. И выкладывала углы зеленым мхом. Она делала это старательно, как будто только это могло сохранить и стеклянную стену, и мир вокруг.

Но шаги она услышала сразу. Оля застыла на пороге, губы у нее припухли, от глаз весело бежали дорожки.

— Машенька...

Машка подняла голову и внимательно на нее посмотрела.

— Машенька, — Оля прятала глаза, — а Максим, он...он вырастает. Мы сегодня его будить пришли, а он совсем ... такой бледный лежит.

Машка что-то прошипела сквозь зубы, взяла Олю за руку и они пошли сквозь сад. Еще вчера все было так хорошо. Они кидались с понтона в ярко-синюю воду реки, собирали землянку, до ночи катались на стареньком велосипеде. Неужели еще кто-то?

Оля плакала. На большой поляне играли в вышибалы. Мяч вышибал не настоящую кровь, и она стекала в песок клюквенным соком.

— Убит!

— А у меня свечка!

— Я сказала, вы был!

Выбитый фыркнул и улегся на траву. Рядом с ним, положив на лапы лохматую голову, лежал лев и протяжно вздыхал. Глаза у льва были грустные. Он-то все знал. Машка потрепала его по гриве.

— А он вчера хотел за рыбками золотыми идти, — сказала Оля. — А теперь что?

Она тоненько заплакала.

Максим лежал под иргой в гамаке. Он был очень бледен. Только губы черные от ирги.

— Ты чего это? — Машка шмыгнула носом и села под дерево.

Максим развел руками:

— Не знаю, получается. Проснулся с утра и получается.

Он хотел улыбнуться.

Машка поправила хвостик, она смотрела на него пристально, даже как-то очень зло.

— Ты разве не знаешь, что бывает, когда вырастаешь? Как ты можешь?

На Олино плечо опустилась огромная золотая стрекоза.

— Таких не бывает, — сказал Максим.

— Ты станешь чудовищем, если вырастешь, — сказала Машка, — тебя надо лечить...

Максим вздохнул.

— Я уже съел килограмм ирги... Оля заставила.

— Я еще малины принесу.

Еще вчера их было восемь, Машка привыкла, что их не девять, не десять, а именно восемь. Она привыкала, что так было всегда.

А теперь еще кто-то решил уйти. Машка сама чуть не плакала. Она собирала с заботливых веток малину, яркие витаминки, розовые прянички. В пластмассовом ведерке уже не было видно дна.

— Три четыре, три четыре, мы одни остались в мире, — пела Оля и ела малину. Она, наверное, уже забыла, зачем они забрели в кусты. А может, просто захотела забыть.

Машка фыркнула и сорвала последнюю аскорбинку с куста. Она выбралась из дубрей к берегу реки. С обрыва пил небольшой диплодок. С длинной, похожей на дугу шеи капала вода.

— Машка! Машка! — позвал Гриша, — на нас землекопы напали!

Гриша весело во весь рот улыбался. Он тоже не замечал, что что-то меняется. Землекопы, страшные чудовища с огромными лопатами-руками, конечно же, могли напасть, придти со стороны леса. Но Машка отмахнулась.

Максима она нашла на мостках, он сидел и читал. Один-одинешенек. И удочки не было рядом, нечем было ловить золотых рыбок, морских змеев, черных крокодилов. Машка замерла.

Максим обернулся и попытался спрятать книгу. Машка села рядом, зло покосилась на неинтересную обложку.

— Макс... — она поставила между ними ведерко. И сквозь него тут же начали проходить лучи.

— Да? — Максим взял в руки одну из ягод.

— Как ты можешь, а? Ты же обещал. Мы же обещали всегда быть вместе, — Машка всхлипнула, — и никогда...

Макс неловко положил руку ей на плечо.

— Но я же не могу не...

— Почему?

Он снова пожал плечами. Его лицо за ночь вытянулось, и он, кажется, тоже боялся.

Машка заплакала.

— Ты знаешь, это как река несет, а ты плаваешь плохо, — наконец подобрал он слова.

— Не хочу, — зло сказала Машка, — не хочу тебя чудовищем видеть.

Мимо проехал сам по себе старый велосипед, наверное, ему надоело в гараже.

— Там скоро электричка придет, — сказал Максим, — ты меня проводишь?

— Ну, мы же... — Машка еще раз посмотрела на него, — провожу.

Здесь никогда не бывало холодного ветра, а вот сегодня откуда-то взялся. Они дошли до станции по колено в воде. Рыбы прятались между блестящими рельсами. Это были летучие рыбки. Они то и дело вспархивали с воды. А когда рельсы запели, загудели — серебристая стая совсем разлетелась.

### 3.

Они остановились посреди реки. Сима хотела открыть окно и кинуть что-нибудь в воду, но мама не позволила.

Мальчик запрыгнул на подножку, а девочка осталась на подводном перроне.

— Прощай! Прощай, Машка! Ты меня скоро забудешь! — крикнул он, но колеса уже запели.

Машка стерла слезы с глаз. И вспомнила, что на них напали землекопы.

Сима смотрела на бледного мальчика с удивлением. Она аккуратно перебралась с

одного сидения на другое. И наконец оказалась рядом с ним. На его коленях стояло ведерко с малиной.

— Привет, — сказала Сима, и потянулась к малине.

— Привет, — Максим улыбнулся и дал ей все ведерко.

А окна снова залила тьма, на этот раз какая-то совсем непроглядная. И было очень тихо. Даже колеса не стучали.

— До свидания, — сказал старик и поднялся.

— До свидания, — кивнула мама.

Перрона не было видно, но он сошел вниз не оглядываясь.

Электричка испуганно дернулась как живая и полетела вперед к свету.

— Ваш билет, — спросила полная веселая контролерша у Максима, и тот протянул ей несколько бумажек.

— А ты что, один едешь, мальчик? — удивленно спросила контролерша. Сима рядом притихла, размазывая по губам малину.

— Да, — Максим улыбнулся, — к маме еду. Я уже взрослый.

— Сима, — позвала мама, — мы выходим на следующей.

И они сошли на пустой пахнущей флоксами станции. Мама, Сима и кошка.

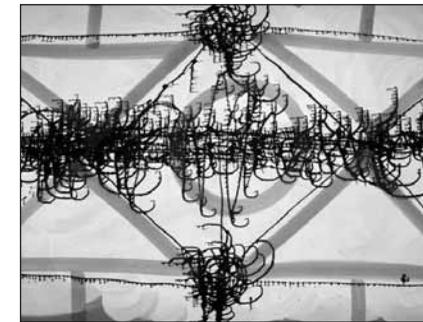
А электричка пошла дальше, и кто-то следил за ними из каждого вагона.

*Ночь с 13-го на 14 октября 2009*

Поэзия

Ярослав Глущенков

## На взъерошенном небе



Теле

Глодая набухшие перси нимфетки  
ты губы мазать собирался  
о лиц задумчивых салфетки  
и музе в бедра улыбался

Потом ты вены резал ногтем  
и песнями кололся в вены  
и отражаясь нашим воплем  
ты уползал за жабры сцены

Любил ты бытие кромсать  
под лепет гопников лицейских  
и уходя навек в леса  
кидаться калом в полицейских

\*\*\*

На втором этаже в той общаге глухой  
красных два огонька как глаза темноты  
ты позвал меня чаю попить с тобой  
поглазеть на растущие в стенах цветы

мы сидели на кухне и вился дымок  
словно в такт пританцовывая бытию  
и соседи что слышали наш диалог  
терли громче и мыли посуду свою

Мы торчки анархисты у нас шиза  
набухаем на обществе странным прыщом  
мне нужны только на зиму два шуза  
и до лета дожить чтобы спать с дождем

\*\*\*

Собака лает хочется на волю  
остался год и в небо голубое  
мешки с землей таскают машинисты  
на них распятия повисли  
А Саша завтра улетает  
где нет людей собака лает  
и вечером под сказки ивы  
когда закат едва дыша  
ее косяк как день красивый  
взорвется тихо не спеша

\*\*\*

В районе цирка валит снег  
субботний вечер клоуны на сцене  
смешат детей  
священников и свет  
губами ковыряет вены  
смешных людей что в оркестровой яме  
играют сквозь  
вспотевших медвежат  
Как тишина в разорванном баяне  
в снегу два лебедя лежат

\*\*\*

Ты касаешься ветки  
рука утопает в руке  
звезд улыбчивых таблетки  
на взъерошенном языке

Красота за дверью  
не решается позвонить  
артерию надо проверить  
дыхание усмирить

Многое надо взвесить  
сколько против и за  
ангелов нежных и бесов  
щурящих жадно глаза

Выпей стакан портвейна  
или начни курить  
потереби на вене  
шрама короткую нить

Спой что-нибудь из Кобейна  
Летова вспомни чуть-чуть  
выпей еще портвейна  
вспомни ее и забудь

Как на взъерошенном небе  
звезды катались в снегу  
выпей еще портвейна  
я уже не могу

Семен Ваксман

## Я стол накрыл на шестерых



Текст Семена Ваксмана выламывается из строгих жанровых определений. Это и не литературоведение, и не биографическое повествование, и не эссе. И уж тем более не роман, как его озаглавил автор. То есть, в кавычках да — «роман», в предисловии к которому автор пишет:

«Роман «Я стол накрыл на шестерых» — о семье, в которой было шестеро детей, и все они были погодками. Анна Ахматова родилась в 1889 году, Борис Пастернак в 1890, Осип Мандельштам в 1891, Марина Цветаева в 1892, Владимир Маяковский в 1893, Сергей Есенин — в 1894. Считается, что младшенький родился в девяносто пятом году. Но когда его хоронили, мама сказала Зинаиде, невестке, что Сергуньку-то она не сразу записала, чтобы он позже в солдаты попал. Их жизнь — это роман, это история любви, письмо во сне, это роман с самой жизнью, с небом и землей, с облаками и деревьями...»

В 2000 году рукопись «Я стол накрыл на шестерых» вошла в шорт-лист литературной премии «Антибукер» номинации «Четвертая проза». Через два года главы из нее были опубликованы в челябинском журнале «Уральская новь». А спустя одиннадцать лет «Вещь» решила обнародовать другую часть рукописи с надеждой, что в недалеком будущем читатель получит возможность целиком прочитать это петляющее по борхесовским лабиринтам повествование, оценив масштаб проделанной работы пермского автора.

Младшие братья, Сергей и Владимир, уйдут первыми, и раньше всех самый младший, другу писавший: «Уж очень все мы рассыпались, хочется опять немного потесней в семью едину» — именно пушкинскими словами о том, как «старый круг друзей в семью стесняется едину».

Блажен, кто праздник жизни ран  
Оставил, не допив до дна  
Бокала полного вина,  
Кто не дочел её Романа...

Её романа — то есть романа жизни. Вот и получается у Пушкина не просто роман в стихах, а Роман жизни, а сама жизнь — это праздник. Праздник!

Дольше всех продлится земная жизнь старших — Бориса и Анны.

Дважды, всего дважды, какие-то силы небесные сводили их, выстраивали жизнь, выкладывали ее мозаику, сшивали их судьбы в сквозной сюжет.

В конце 1915 года года все шестеро оказались вместе в одном городе — Питере. Они могли пройти мимо друг друга, но могли и встретиться, и след этой встречи остался на мостовых, на стенах домов, остался в воздухе. Занавес раздвинулся, и свет объял их, и они нашли друг друга.

### ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Через три года, в конце 1918 года они еще раз оказались все вместе в одном городе — на этот раз в Москве. Вместе в одном городе — в последний раз. Снова раздвинулся занавес, и снова свет объял их, и нашли они друг друга, и это было *Встретенье, Сретенье, Встреча...*

### 1. ПОМЕДЛИМ У РЕКИ

Осип Мандельштам устремился в Москву за Мариной. Она дарила ему первопрестольную:

Из рук моих — нерукотворный град,  
Прими, мой странный, мой прекрасный  
брат...

И встанешь ты, исполнен дивных сил,  
Ты не раскаешься, что ты меня любил.

Дарила Москву и просила прощения:

Ты запрокидываешь голову —  
Затем, что ты гордец и враль.  
Какого спутника веселого  
Привел мне нынешний февраль!  
Помедлим у реки, полощущей  
Цветные бусы фонарей,  
Я доведу тебя до площади,  
Видавшей отроков-царей...  
Мальчишескую боль высвистывай  
И сердце зажимай в горсти...  
— Мой хладнокровный, мой неистовый  
Вольноотпущенник — прости!

Смешливого мальчишку она увидела в нем:

В тебе божественного мальчика  
Десятилетнего я чу...

Вместе с маленькой Алей они, наверное, видели ледоход. В «волчьих» стихах тридцатых годов Мандельштам загадал себе Енисей, но ему выпала Кама, а безумные глыбы на Енисее, в Туруханске увидит как раз эта маленькая девочка, которая сейчас смотрит большими глазами на ледоход на Москве-реке, такой безопасный, домашний...

Осип твердил — «Марина, Марина». А она — «Что Марина, — когда Москва?!»; неустанно таскала гостя по Москве — по Охотному ряду, где продавали битую дичь, по Моховой, где мохом торговали когда-то, по Лубянке — имя-то ее — Лубяница новгородцы в Москву принесли, по Сретенке, в названии которой вот уже который век спрятана встреча, спасающая город. Улицы просто входили в стихи, вламывались проспектами, втекали переулками. Слуховые окна храма Покрова смотрели на них, как глаза ослепленных мастеров. Когда-то на том месте, где река Неглинка впадает в Москву-реку, было сельцо суздальского тысяцкого Кучки,

и увез он сюда, в глушь, жену-красавицу от глаз князя Юрия, тучного и женолюбивого; но поспешил за красавицей князь, и убил Кучку, и остался в его селе, и веселился с гостями, и город основал — на крови, на любви — есть такая легенда...

Десятилетнего мальчика увидела в Осипе Марина Цветаева, но, пожалуй, Анна Ахматова была ближе к истине, когда давала ему пять лет. Летом, на даче в Александровой слободе, с детьми он рыл норы в глине; возмущался, что Марина не играет. Глина — это прекрасно, это такая книга, «книга влажных глин». Ему хочется домой, а дома у него уже тогда не было. Так дети тоскуют — «Я хочу домой». Пятилетний мальчик — и он же — «молодой Державин», государственный поэт. Они с Мариной уходили на кладбище, говорили о жизни и смерти. Лежали на траве, копали глину, прокапывали норы друг к другу, и Осип хохотал.

А потом все прошло. «Оглядываюсь — бычок. Красный... Дети не испугались во все, принимают за игру, летят на моих вытянутых руках, как на канатах гигантских шагов, не по земле, а над. Скок усиливается, близится, наступает. Не вынеся — оглядываюсь. Это Мандельштам скачет. Бычок давно отстал...»

Он жалок, молодой Державин, — бычка испугался. Весной тридцать первого года Цветаева рассказала об этом на литературном вечере в Париже — с полным успехом. Добавила: «Зачем нам знать, как великий поэт Мандельштам по зеленому косогору скакал от невинного теленка».

Она не знала в ту весну в своем Париже, что Осип Мандельштам после поездки в Армению, где «лазурь да глина, глина да лазурь», уже разминал эту самую глину для великих строк тридцать третьего года, рывком возвысивших русскую поэзию двадцатого века:

Колют ресницы. В груди прикипела  
слеза.  
Чую без страха, что будет и будет гроза.  
Кто-то чудной меня что-то торопит  
забыть.

Душно — и все-таки до смерти хочется  
жить...

А тогда, в Александрово — трус, трус!  
Собраться недолго — бритва и тетрадка.  
Уехать в Крым к Волошину, прислониться к  
нему, язычнику, мудрецу..

— А когда у нас поезд?  
— Поезд? У нас? Куда?  
— В Крым. Необходимо сегодня же.  
Что он мог ей подарить?

Прими ж ладонями моими  
Пересыпаемый песок...

Потом Цветаева скажет: «Ничто так не  
вызывает у меня представления о наслажде-  
нии, как песок, и ощущения песка, как на-  
слаждения». Песок — это ведь тоже камень,  
но по всей матрице осязаемый, теплый, со-  
гретый детскими ладонями.

Ему хорошо там, где песок, где сердо-  
лики, где его любят. Марина все понимала,  
чернокнижница:

Никто ничего не отнял!  
Мне сладостно, что мы врозь.  
Целую Вас — через сотни  
Разъединяющих верст.

Она все знала наперед:

На страшный полет крещу Вас...  
Не спасет ни песен  
Небесный дар, ни надменной  
вырез губ.

Тем ты люб, что небесен.  
Ах, запрокинута твоя голова,  
Полузакрты глаза — что — пряча?  
Ах, запрокинется твоя голова —  
Иначе.

И не потому ли Осип бежал от «монаш-  
ки туманной», что страшился этого ее зна-  
ния — ведь все так и вышло, как она напро-  
рочила:

...спит себе  
И не слышит ночных гостей,

И не видит, как зоркий клюв  
Злаококая вострит птица.

У кремлевского горца, у горного орла —  
«властелина скалы» — желтые глаза.

Не верблужье в запрокинутой голове  
Мандельштама увидела Цветаева, а лебеди-  
ное:

Разлетелось в серебряные дребезги  
Зеркало, и в нем — взгляд.  
Лебеди мои, лебеди  
Сегодня домой летят!

Так есенинское зеркало разлетелось —  
и в нем взгляд того, кто был на нездешнем  
вечере. Она и себя, и Есенина увидела:

Нагулявшись, наплясавшись на земном  
пиру,  
Покачались бы мы, братец, на ночном  
ветру...

Они были похожи с Сережей Есениным  
в ту пору — цветом волос, голосом, мане-  
рами.

Как-то под Новый год было гадание, и  
ей выпало — «А мне два столба с перекла-  
диной». Она шла домой и повторяла это...  
Она так легко ходила, как летала:

Поступь легкая моя,  
Чистой совести примета...

И Есенин так же легко ходил по этим же  
улицам:

Каждая задрипанная лошадь  
Знает мою легкую походку...

Так в Тарусе она гуляла по ночам, уходила  
на Оку. А в Константиново Сергей пропа-  
дал в заокских лугах, и туман от Оки подни-  
мался, а если лечь на землю, то над кромкой  
воды, под плащом тумана можно увидеть  
другой берег. И туман шел по Оке от Тарусы  
до Константиново...

Все-то она знала, «туманная монашка», и  
Ярославной оберегала дорогу:

Собирая любимых в путь,  
Я им песни пою на память...

... заклинает ветер, дорогу, змея, тучу,  
разбойника...

Осип читал ей, не мог не читать это —

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.  
Я список кораблей прочел до  
середины...

...прошлогодние, августовские вол-  
шебные строки, написанные в Коктебеле,  
когда они прошли мимо друг друга. И она  
взяла себе эту бессонницу в шестнадцатом  
году —

И где-то музыка в окне чуть...  
Вот опять окно, где опять не спят...

А в этих строках в накате средиземной  
волны появляется раковина —

Голосу дай мне воспеть тебя, о  
праматерь  
Песен, в чьей длани узда четырех  
ветров.

Клича тебя, славословя тебя, я только  
Раковина, где еще не умолк океан.  
Ночь! Я уже нагледелась в зрачки  
человека!  
Испепели меня, черное солнце — ночь!

А вот как у Мандельштама было в первой  
книге — одно время он хотел назвать ее —  
«Раковина».

Быть может, я тебе не нужен  
Ночь; из пучины мировой,  
Как раковина без жемчужин,  
Я выброшен на берег твой...  
Ты на песок с ней рядом ляжешь,  
Оденешь ризою своей,  
Ты неразрывно с нею свяжешь  
Огромный колокол зыбей;  
И хрупкой раковины стены, —  
Как нежилого сердца дом, —  
Наполнишь шопотами пены,  
Туманом, ветром и дождем...

Как волна накатывает — *ляжешшь, оденешшь риззою...*

Потом у Пастернака отзовется —

Приедается все.  
Лишь тебе не дано примелькаться.  
Дни проходят,  
И годы проходят,  
И тысячи, тысячи лет.  
В белой рьяности волн,  
Прячась в белую пряность акаций,  
Может, ты-то их, море,  
И сводишь, и сводишь на нет...

Конечно, они говорили и об Ахматовой.

Ах, если бы — двери настезь —  
Как ветер к тебе войти.

Ровно через четверть века, перед второй войной Ахматова и Цветаева увиделись — в первый и последний раз...

Над Музой Царского Села  
Кресты крапивы...

Не просто крапиву, тайный сор углядела тогда Марина Цветаева, а — «кресты крапивы», и в том ее, цветаевская тайна ремесла. Она знает все —

И как под землю трава  
Дружится с рудою железной...

Геоботаника, геопоззия... Для нее стихи растут вовсе не из сора:

Стихи растут как звезды и как розы,  
Как красота — ненужная в семье...

Ахматовский луч, играющий на медном рукомоинике — как нитка:

В иголку продеваю луч...  
Луч не вдевается в иголку.

Что луч! Она видела в шестнадцатом году расплывающийся инверсионный след сверхзвукового истребителя:

Огневая полоса — в небеса!

Ведунья все знала и о самой Ахматовой, и о маленьком Леве. И когда она писала стихи для так и неувиденной ею Ахматовой —

О муза плача, прекраснейшая из муз!  
О ты, шальное исчадие ночи белой!  
Ты черную насылаешь метель на Русь,  
И вопли твои вонзаются в нас, как  
стрелы...

Она, кажется, все знала про будущий ахматовский реквием — плач о сыне, и знала, что глаза у мальчика такие же, как у нее самой:

Рыжий львеныш  
С глазами зелеными,  
Страшное наследие тебе нести!  
Северный океан и Южный  
И нить жемчужных  
Черных четок — в твоей горсти.

Знала она, что в его горсти весь мир, вся история мира и вся география мира... Она и дочери своей напрогочила:

Сивилла! Зачем моему  
Ребенку — такая судьбина?  
Ведь русская доля ему  
И век ей — Россия, рябина...  
Знай одно: никто тебе не пара  
И бросайся каждому на грудь...

И о себе знала — *«Мне загоститься не дать на российской земле»...*

А про внуков не угадала: *«Когда я буду бабушкой...»*

Вот она идет по ночной Москве, и листик грызет. Деревья шумят на Садовой...

Есть черный тополь, и в окне — свет...

Это же ее дом, ее тополь перед ее домом.

Вот опять окно, где опять не спят,  
Может, пьют вино, может, так сидят...

Это же есенинское окошко!

А вот другое окно — со свечой на подоконнике:

Не спи! Крепись! Говорю добром!  
А то вечный сон! А то — вечный дом!

Эти строки просвечивают в знаменитых стихах Пастернака:

Не спи, не спи, художник!

Идет Марина по ночному городу...

Это бродят по ночной земле — деревья,  
Это бродят золотым вином гроздь...

И Борис Пастернак так легко продолжит игру:

Так играют овраги,  
Так играет вино...

Марина — отменный ходок. Бродит

...такою ночью лунной,  
Когда лягушки воют на пруду...

а пруд-то есенинский, и лягушки то ли тарусские, то ли константиновские.

Черных твоих коней  
Слышу топот...

Это есенинские кони...

Мне кто-то в сердце забивает гвозди...

И гвозди — есенинские:

Непутевым сердцем  
Я прибит к тебе...

В октябре семнадцатого года Цветаева всю взбаламученую страну проехала — из Крыма в Москву и ничего не знала про революцию, про то, что Сережа с юнкерами защищает Кремль от большевиков; в дневнике писала — *«Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду*

*ходить за Вами как собака»*, потом назад в Коктебель, к Максиму и снова вернулась в Москву — за детьми, Алей и маленькой Ирочкой, а назад уже нельзя — Крым отрезан, а там Сергей остался. Они были на Вы; родились в один день. Через двадцать лет она разбирала бумаги, приписала на полях: *«Вот и пойду, как собака»*. Она — через все свои влюбленности протащила Сердоликовскую бухту, камень — из руки в руку, и тот день — 5 мая, на всю жизнь, как раз папин день рождения был накануне. Нараспашку, как Ахматова — *«Дурная мать, но верная жена...»*

Под новый, восемнадцатый год, в голодной Москве, заваленной снегом, написан «Кавалер де Грие» — новогодние стихи, вьюжные, магического размера... Его возьмет Михаил Кузмин для поэмы «Форель разбивает лед», и Ахматова не нашла лучшей музыки для «Поэмы без героя». Инна Лиснянская заметила — Ахматовой не хотелось, чтобы думали, будто размер поэмы взят у Цветаевой...

В «Кавалере» снова появилась раковина —

Мы приходим из ночи вьюжной,  
Нам от вас ничего не нужно,  
Кроме ужина — и жемчужин,  
Да, быть может, еще души...

*Раковина, жемчужина...* Мандельштамовская раковина — для нее, Марины, морской... Наполняется шепотами пены, туманом, ветром и дождем... А как это делается — *тайна, душа-Психея, ласточка...*

Я только раковина, где еще не умолк океан...

Петр Великий из пастернаковской вариации увидит ее:

...он погружался в чтение  
Евангелия морского дна.  
Последней раковине дорог  
Сердечный шопот...

Мандельштамовская ласточка влетает в ее стихи:

Возлюбленный! Ужель не узнаешь?  
Я ласточка твоя — Психея!  
Ласточка, душа души:  
Все истрепала, изорвала —  
Только осталось, что два крыла...

\*\*\*

Был еще один *нездешний вечер* в январе восемнадцатого у, наверное, последнего московского мецената — на Поварской, в уютной московской квартире с гравюрами, старинным фарфором. Вскоре квартиру захватят анархисты, а хозяева уедут в Париж. А сейчас за столом — зеркально к питерскому вечеру — Марина Цветаева и те, кого не было на нездешнем вечере в Петрограде — Маяковский и Пастернак. И Маяковский был первым. Он читал поэму «Человек». Цветаева сидела рядом с Пастернаком, и он сказал ей: «Я хочу написать большой роман: с любовью, героиней — как Бальзак». Она подумала: «Как хорошо, как точно»; сказала: «Буду рада, если...»

Все впереди — страшная Москва гражданской войны, голод, смерть в кунцевском приюте Ирочки, краткая служба в Наркомнаце в доме Ростовых на Поварской, и шепотом наркомата был невысокий человек с рябым лицом и желтыми глазами...

У Марины был *Стол*, непобедимая вера в Слово, вахтанговская студия и — влюбленность. Она не могла не влюбляться! Когда все шестеро оказались в декабрьской Москве восемнадцатого года, она писала — для златокудрого Юрочки Завадского:

Друг, разрешите мне на лад старинный  
Сказать любовь, нежнейшую на свете.  
Я вас люблю. — В камине воет ветер.  
Облокотясь — уставясь в жар  
каминный —  
Я вас люблю. Моя любовь невинна.  
Я говорю, как маленькие дети...

## 2. ПЕСОК

Осип, конечно, влюбился в Марину:

В разноголосице девического хора  
Все церкви нежные поют на голос свой,  
И в дугах каменных Успенского собора  
Мне брови чудятся высокие, дугой...

В фотографии это называется двойной экспозицией. И Нева — цвета марининых глаз — «морской воды тяжелый изумруд». И себя, Осипа Мандельштама, он увидит в страшном видении:

По улицам меня ведут без шапки  
И теплятся в часовне три свечи.

И страну увидит такой:

О этот воздух, смутой пьяный,  
На черной площади Кремля.

Через полтора года пушки будут бить по Кремлю...

В Москве он увидел Углич и Флоренцию. И у Цветаевой в стихах — Флоренция...

Вот они идут по Москве:

Торжественными чужестранцами  
Проходим городом родным...

В стихах ощутим рельеф колокольного семихолмия. Конечно, они были в Трехпрудном... Тверская, Охотный ряд... Через Иверскую часовню — на Красную площадь и через Спасские ворота — в Кремль на Соборную площадь — «пяτισоборный несравненный круг».

Помедлим у реки...

Марина в меховой шубке, которую Осип звал *барсовой шкурой*.

От Воробьевых гор до церковки  
знакомой  
Мы ехали огромною Москвой...

И погружались в историю: Углич, убиенный мальчик — царевич Димитрий, и Лжедмитрий, потому что рядом — Марина. Она — настоящая. Пройдет какое-то время — Марину и Осипа вышвырнут из Москвы в Елабугу, в Черусти — в смерть.

А пока — она дарит ему Москву —

... Из рук моих нерукотворный град...  
... К Нечаянная Радости в саду  
Я гостя чужеземного введу...

Наверное, это та самая «церковка знаковая» — в нижнем саду Кремля, пристроенная к Благовещенской башне. Для Осипа Москва — *Нечаянная радость*.

В Александровской слободе он играет с детьми.

— Дядя Ося, кто тебе так голову отвернул?

Ах, запрокинется твоя голова  
Иначе...

Он бежал в Коктебель. Там Волошин писал акварели — там красная полынная земля, там даже цветы не растут; там синий воздух, желтое солнце; такой пейзаж могут оценить геологи и планеристы. В конце концов, дело не в бычке. Дело в самой Марине. Осип искал встречу на земле, а не на небесах. «Кто осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека не должен стоять на земле, как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует».

Себя он теперь звал «антицветаевцем»...

Он пересыпал песок на коктебельском пляже. В кафе «Бубны», расписанном Якуловым, грек Синопли угощал виноградом, копченой барабулькой, брынзой; здесь Мандельштам читал стихи, которые могла слышать красивая девочка Оля — Лютик, по-домашнему. Пройдет время, и он влюбится в нее:

Я буду метаться по табору улицы  
темной...

Я только запомнил каштановых прядей  
осечки...

Через много лет, в воронежской ссылке, когда узнал, что Лютика не стало, написал неслыханной силы строки:

И твердые ласточки круглых бровей  
Из гроба ко мне прилетели  
Сказать, что они отлежались в своей  
Холодной стокгольмской постели...

На следующий год Осип снова был в Крыму; туда приехали сестры Цветаевы. Марина сказала Асе — «Не оставляй нас вдвоем»...

\*\*\*

Так недавно это было —

А над Невой — посольства полумира,  
Адмиралтейство, солнце, тишина!  
И государства жесткая порфира,  
Как власяница грубая, бедна...

Государство погибло. Казалось, и город погибает.

На страшной высоте блуждающий  
огонь...

Это немецкие самолеты над родным городом.

Когда октябрьский нам готовил  
временщик

Ярмо насилия и злобы...  
Твой брат, Петрополь, умирает...  
...корабль ко дну идет...

Потом появилась надежда:

Прославим, братья, сумерки свободы,  
Великий сумеречный год!...  
Ну что ж, попробуем: огромный,  
неуклюжий

Скрипучий поворот руля.  
Земля плывет. Мужайтесь, мужи...

Сергей Есенин из трюма корабля увидит Россию — кораблем, Ленина — капитаном, *Капитаном Земли* —

...Тот трюм был русским кабаком...

Осип Мандельштам видел мир вокруг себя таким, каков он есть.

...Мы будем помнить и в летейской  
службе,  
Что десяти небес нам стоила земля.

Маяковский:

Но землю, с которой вдвоем замерзал,  
Вовек позабыть нельзя.

\*\*\*

Луначарский взял Мандельштама под свое крыло, в Наркомпрос. *Наркомат, Наркомпрос* — какие странные эти новые советские слова. В феврале восемнадцатого правительственные учреждения переехали в Москву. Казалось, что весь мир сместился — даже время сдвинули вперед.

Все чуждо нам в столице непотребной:  
Ее сухая черствая земля,  
И буйный торг на Сухаревке хлебной,  
И страшный вид разбойного Кремля...

Советский чиновник Мандельштам жил в «Метрополе» — втором Доме Советов. Там он мог видеть Сталина.

Анна Андреевна осталась в Петрограде, и не с кем поохотать. Вот с ней он был свободен; они понимали друг друга. В «Тристию», в стихи о расставании он взял ахматовскую «беличью распластannую шкурку». Как-то они вместе были на концерте — «Нам пели Шуберта»; пели нам, именно нам. Это была их общая, как беличья шкурка, музыка, музыка на вокзале, который мог превратиться в крылатого коня:

И мнится мне: весь в музыке и пене  
Железный мир так нищенски дрожит...

В этом железном мире происходили невозможные, невероятные вещи. В кафе «Домино», что на углу Тверской и Камергерского Мандельштам схватился с самим Блюмкиным — левым эсером, чекистом в комиссарской кожаной куртке, в комиссарских суконных галифе. Тот держал в руках пачку ордеров на арест, подписанных Дзержинским, ревел, что расстреляет любого интеллигентшику вроде этого, глянул в бумагу, — Пусловского. Видела бы Марина, как Осип, испугавшийся бычка, выхватил и разорвал эти ордера...

Через двенадцать лет он скажет: «*Есть прекрасный русский стих, который я не стану твердить в московские псиные ночи, от которого как наваждение рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих: он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:*

...*Не расстреливал несчастных по темницам. Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя...*»

Какая жалость, что Есенин так и не услышал этих слов...

Осип Эмильевич бежал по Тверской из кафе, как в Александровской слободе от бычка бежал — куда глаза глядят. Но смерть, сброшюрованная в пачку ордеров — разорвана! Блюмкин кричал вслед: «*Расстреляю, если сунется!*» Мандельштам бросился к Ларисе Рейснер. Ее муж — могущественный Раскольников позвонил Дзержинскому. Тот принял Мандельштама, и безвестный Пусловский был спасен.

На работу Мандельштам не вышел, написал объяснительную — «*захворал истерией*». А шестого июля Блюмкин арестован — после убийства германского посла.

В конце восемнадцатого года в Москву ненадолго переехала Ахматова, и он бывал у нее. Темная Пречистенка завалена снегом, и узкая дорожка протоптана к ее дому в Третьем Зачатьевском.

Однажды Мандельштам исчез из Москвы; просто не появился однажды в своем наркомате.

### 3. ЗОЛОТАЯ ЛЯГУШКА ЛУНЫ

Девяносто пятый год рождения мобилизовали досрочно. Как раз перед уходом в армию Есенин выступал в Тенишевском училище — вместе с Ахматовой и Мандельштамом — напудренный, наурмяненный, с завитыми кудрями. А на следующий день отправился к месту прохождения службы — в Царское Село. Получил погоны с вензелем военно-санитарного поезда, кокарду с красным крестом, ефрейторскую нашивку. Личный номер — 9999. «*Не добирай меня сотым до сотни*» — скажет потом Пастернак.

Теперь Ахматова была рядом, но встретиться с ней Есенин не пытался — помнил холодный прием. А в стихах не мог не подражать. Откровенно — под «*Сероглазого короля*»:

Снимет шубу и шали развяжет,  
Примостится со мной у огня,  
И спокойно, и ласково скажет,  
Что ребенок похож на меня.

Летом шестнадцатого года у Федора Сологуба Есенин впервые увидел Маяковского, и тот встречу запомнил до мелочей: «*В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиком... Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штiblеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским*». А Есенин и был актером, и каким актером. Старый Сологуб это понял: «*Смазливый такой, голубоглазый, смиренный... Льстит, а про себя думает — убажуху старого хрена, пристроит меня в печать... насчет лучины, при которой якобы грамоте обучался, — тоже вранье... адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало. Но все-таки — мальчишка стоящий, с волей, страстью, с горячей кровью — не чета нашим тютюкам из «Аполлона»*».

У Сологуба квартира на Васильевском острове. Большой квадратный стол, висючая лампа под зеленым абажуром, салфет-

ки, чай. Есенин читал после Маяковского, и проиграл начисто, проиграл — его открытости, его любви, его броне и его беззащитности. Маяковский мог писать обо всем на свете — о маме, сестрах, о Марии, о Лиле; он был естественен; он один был такой. Наденет какую-нибудь пелерину или желтую кофту, заломит шляпу, вот он я! В жизни он играл самого себя, — в той жизни, в той трагедии, которая так и называлась — «*Владимир Маяковский*».

Есенина просили читать еще, но он не стал — *где уж нам, деревенским, тягаться с городскими. У них и одежда, и щiblеты модные, а мы ведь тихенькие, смиренные*. Маяковский сказал ему — сверху вниз:

— Да ты не ломайся, парень, не ломайся, миленок, тогда и у тебя будут модные щiblеты, помада в кармане и галстук с аршин. «*Миленок*»... — он произнес это нежное и печальное есенинское слово, с которым тот ушел из жизни: «*Малый он был как будто смешной и милый*».

Так Есенин писал — про жеребенка, который гнался за поездом:

Милый, милый, смешной дуралей...

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Маяковский — профессиональный игрок — выиграл пари. Да что там пари — почти угадал год революции! А Есенин при всей своей жизненной сметке не очень-то чувствовал время, в котором жил. В книге своей «*Голубень*» цикл стихов посвятил императрице. А ведь всем было ясно — трещит царский трон! Ему объяснили — «*Что ты делаешь, Сергунька?*» — и он побежал в типографию, снял посвящение. Но к букинистам на Литейном попал корректурный оттиск, где значилось — «*Благоговейно посвящаю...*» Есенинский покровитель, полковник Леман, представил нестеровского отрока царской семье. Есенин стихи читал, послание царевнам написал: «*О помолись, святая Магдалина, за их судьбу...*», и стихи на случай для несчастных девчонок стали пророчеством. Потом он рассказывал, что

с великой княжной Анастасией на черной лестнице целовался. Придумал, наверное. «Я все себе позволил». Теперь он был вхож к Блоку. Однажды принес ему банку маринованных грибов, купил на Сенной, а сказал, что из деревни привез...

А Февраль он уже в Петрограде встретил, — сбежал из Могилева, где был в полку охраны царя. Во всю ширину Невского шли, взявшись за руки, пальто нараспашку — Есенин, Микола Клюев рядом, Клычков, Орешин — крестьяне, россияне, поляне. Весна — необычайно ранняя; а слова-то какие, уносящие в небо, — *свобода! товарищ!* И небо такое бездонное, синее, и солнце весеннее, и снег наливается водой. Шура, сестра, в деревне увидела его таким: ночью остановился у открытого окна. На окне керосиновая лампа, а высоко в небе — луна. В барском саду пел соловей, и Сергей ему подсвистнул. «*Есть одна хорошая песня у соловушки*» — в последний свой год написал; напевал часто — хорошо, что кто-то мелодию придумал...

За три дня до штурма Зимнего Есенин читал стихи на своем вечере в Тенишевском училище. Не было у него способности говорить на людях. Он мычал, путал слова. Но зато у него были дед, бабушка, кошка, корова, дом, мама, была Ока, было село Константиново, и это — отнять нельзя. Деревенская грязь осталась в «Яре», а свою страну он называет *Инонией*, иной страной.

Ему кричали на вечере — «*Изменник!*» Есенин пришел к Блоку, рассказывал о зеркале луны, о лошадях, пьющих луну. Блок удивлялся, в дневнике записывал: «*Образ творчества: схватить, прокусить... Налимы, видя отражение луны на льду, присасываются ко льду снизу и сосут: прососали, а луна убежала на небо*». Блок уже писал поэму «Двенадцать», и там *тако-о*е будет —

**Пальнем-ка пулей в святую Русь...**

В эти годы «*безумного превышения сил*» и Есенин пишет свою Библию, «Сотворение мира», свод революционных поэм — с Блоком тягается, но главное — с Маяковским.

Поэм было одиннадцать, и первая называлась — слово — то какое хорошее — «*Товарищ*».

**Так говорит по Библии  
Пророк Сергей...**

Он сделал свод поэм так, как хотел. Страна Инония — неизвестная, сказочная. «*Я решил, что Россию следует показать через Корову... Без Коровы нет России*». Он ворочал глыбы поэм, как мастеровой, как Маяковский, он пошел по его гибельному пути — но остановился, но отшатнулся...

Когда писал, не расставался с Библией и «*Словом о полку Игореве*»; купил по случаю том Руставели и таскал его за собой, как будто знал, что впереди у него свой Кавказ. И своя Азия впереди, там жил Саша Ширявец, и в Москве, как в зеркале, —

**Золотая дремотная Азия  
Опочила на куполах...**

Иная страна, Инония...

У большевиков Есенина привлекали всемирность, всемогущество:

— Говорят, я большевик, Да, я рад зауздать землю.

В «*Иорданской голубице*»:

**Небо — как колокол,  
Месяц — язык.  
Мать моя — родина,  
Я — большевик.**

А дальше...

**Ради вселенского  
Братства людей  
Радуюсь песней я  
Смерти твоей.**

Радуюсь-то — смерти родины. Вот такой *Интернационал*...

К родине, не дрогнув:

**И горько проклиная,  
За то, что ты мне мать.**

Маяковский — снисходительно: «*Такие строки не могли не нравиться*».

Потом пророк Есенин Сергей опомнился и бросил Маяковскому — *тринадцатому апостолу*:

**Ты не нужен мне, бесстрашный  
Кровожадный витязь.**

В предсмертных стихах Маяковский вспомнил о нем — «*Песенно-есененный провитязь*», и правда была в этих словах, потому что *провитязь* — провидец... Есенин — осененный песней, лирой, которую никому нельзя отдать.

**Я к вам приду  
в коммунистическое далеко  
не так,  
как песенно-есененный провитязь...**

Значит, и его видел тринадцатый апостол в этом, бог знает каком далеке...

Почерк у Есенина менялся. Теперь он каждую букву ставил отдельно. Слово расщеплялось, буквы брели по белому полю бумаги, как по белому снегу.

В «*Преображении*» — пастернаковское пятно солнца:

**Солнце как кошка  
С небесной вербы  
Лапкой золотою трогает мои волоса...**

В «Сельском часослове» —

**О солнце, солнце,  
Золотое, опущенное в мир ведро...**

Как будто в зеркале:

**По тучам иду как по ниве я,  
Свесясь головою вниз...  
В синих отражаюсь затонах  
Далеких моих озер...**

Есенин пришел в «Правду» к Устинову: «*Напиши, пожалуйста, рекомендацию... Я, знаешь ли... Я понял... И могу умереть хоть*

*сейчас*». Он жил тогда у Жоржа в гостинице «Люкс» на Тверской. И вдруг увидел на редакционном столе своего «*Небесного барабанщика*» — и прямо по его деревенским, отдельно стоящим буквам — чья-то резолюция: «*Нескладная чепуха. Не пойдет*». Прочитал это Сергуня, сощурился и ушел от Жоржа легкой своей походочкой. Не нужна гуляке партия, и он партии не нужен... Оседлая жизнь, очень недолгая, — началась после женитьбы на Зинаиде Райх. Дочь назвали Татьяной в честь бабушки. Поселились на Литейном. Сергей уходил к Неве. Казалось, там, на том берегу, как за Окой, — мельница, Спас-Клепики, Москва. Фасады зданий отражались в реке. Ждал, когда блеснет игла на Петропавловской крепости. Он походил на французского мальчишку — барабанщика Винсента из «*Войны и мира*», которого солдаты звали *Висеня, Весенний*...

Может, потому и тянуло его в Питер в конце жизни — там Пушкин жил. Сергей уходил за Неву, как в деревне за Оку, как в Москве за Москва-реку. За парком, в сторону Коломяг — черный камень — там, на Черной речке Пушкин в последний раз дивился на белый свет. Стоял на Строгановской набережной, на берегу Невки, у дома, где Пушкин с семьей жил на даче. Услышать бы, как скрипят половицы в его комнате...

Бросил все Сергей и уехал в Константиново. Там его мир, его пруд, его дом...

**По пруду лебедем красным  
Плавает тихий закат.  
Здравствуй, златое затишье  
С тенью березы в воде...**

Это же японская поэзия, японская живопись...

**Я покинул родимый дом,  
Голубую оставил Русь...**

Он прощается, будто знает, что вернется только на излете дней...

**Стережет голубую Русь  
Старый клен на одной ноге...**



ся такими, если их отдавать в чужие не-любящие руки ... Буду часто выходить за околицу и грустный закрывая похувавшей ладонью косые лучи заходящего солнца глядеть в даль не появится ли в клубах пыли знакомая фигура почтальона». Запятых не признавал. Писал — «пороход». Смотрел в словаре — как писать — «легкие» или «лехкие». Пишет об этом Лиле, потому что он свободен писать ей обо всем на свете.

Нет для него ничего невозможного! Лиля: «Ужасно хочется сняться с тобой в одной картине» — и он делает ее актрисой. Сам Маяковский в фильме — художник, который отправился на поиски сказочной страны Любляндии. Потом Лиле захотелось иметь автомашину, и он покупает во Франции «Рено». Он — «Константин», что означает — *Постоянный*.

Как-то на Большой Морской встретился с Ахматовой.

— А я как раз думал о Вас...

Обошли провал в мостовой напротив Дома искусств. Пошли вместе, и он читал ей:

Я показал на блюде студня  
Косые скулы океана...

Она не могла не прочесть ему:

Свежо и остро пахли морем  
На блюде устрицы во льду...

Он любил повторять ее строчки для Лили:

Сколько просьб у любимой всегда...  
Расскажи, как тебя целуют...

\*\*\*

Что-то случилось с ним после Октября. Ведь были слова пронзительной нежности:

Вы мне люди,  
И те, что обидели,  
Вы мне всего дороже и ближе.  
Видели,

Как собака бьющую руку лижет...  
Милые, не лейте кровь!...  
Дорогие, не надо костра!...  
Слышите?  
Каждый, ненужный даже  
Должен жить;  
Нельзя, нельзя ж его  
В могилы траншей и блиндажей  
Вкопать заживо — убийцы!

А потом все изменилось. Самые невозможные слова стали возможны —

Сегодня рушится тысячелетнее  
«Прежде».  
Сегодня пересматривается миров  
основа.  
Сегодня до последней пуговицы  
в одежде  
Жизнь переделаем снова.

Он говорит революции: «Как обернешься еще, двулика?»

А потом, потом:

Твоих шестидюймовок тупорылые  
боровы  
Взрывают тысячелетия Кремля...  
Ты шлешь моряков на тонущий  
крейсер,  
Туда, где мяукал забытый котенок...  
Прикладами гонишь седых адмиралов  
Вниз головой с моста в Гельсингфорсе...

А ведь сам спас своего генерала-автомобилиста!

Дальше:

Время пулям по стенке музеев  
тенькать...

Дальше, дальше:

Отца предложи на старье меняться —  
Мы и его обольем керосином  
И в улице пустим — для иллюминаций...

Есенин ведь тогда как написал о своем отце, даром что не любил его:

Словно яблонный цвет седина  
У отца пролилась в бороде...

«Ваше слово, товарищ маузер» — гремел Маяковский, а Есенин как со свечечкой стоял во мраке со своей волшебной строчкой —

Не расстреливал несчастных  
по темницам...

После смерти у Маяковского нашли в писанной книжке:

Коммунист и человек  
Не может быть кровожаден...

В конце восемнадцатого года Маяковский приехал в Москву с «Мистерией-буфф». На Поварской сидел рядом с Мариной и с Пастернаком.

## 5. ЛЕБЯЖИЙ ПЕРЕУЛОК

Борис снова ездил верхом — детская мечта, и далеко ездил, даже в Кизел, где шахты. На нем грубый свитер, высокие ботинки. Уже «Марбург» написан — это первое, что отцу понравится. В этой вещи есть живописность, есть Преображение, тайна есть. «Я вышел на площадь...», понятно, от Лермонтова, но и от Маяковского тоже —

Я вышел на площадь. Выжженный  
квартал  
Надел на голову, как рыжий парик...

Недаром же Маяк знал наизусть «Марбург», а одно четверостишие считал просто гениальным:

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,  
Как трагик в провинции драму  
Шекспинову,  
Носил я с собою и знал назубок,  
Шатался по городу и репетировал.

Сам Пастернак другое считал лучшим из раннего — «*Был утренняя...*» Место дей-

ствия — Пермь, ночь, пароход у любимовской пристани; белая ночь, отражения в воде; сумрак подслушивает разговор в кают-компании. Потом в «*Детстве Люверс*» Борис Пастернак глазами девочки Жени из закамской стороны увидит любимовскую пристань, огни Мотовилихи, и Женя успокоится от слов «*Это Мотовилиха*»...

«Ивака» произошла из майского дождя, из заточенной в земле красоты:

Сережек аметистовых  
И шишек из сапфира  
Нельзя и было выставить,  
Из-под земли не вырыв.  
Чтоб горы очаровывать  
В лиловых мочках яра  
Их вынули из нового  
Уральского футляра...

Остались фотографии — Борис в глухом свитере с вершины смотрит вдаль. Имя горы — *Дресва*. Передовая складка Урала образовалась при надвигании Урала на Русскую платформу. «*Возвышенность эта, род шихана, с одного края круто обрывалась... Точно этот суровый, подоблачный, богатейший лес, как-то споткнувшись, весь, как есть, полетел вниз и должен был провалиться в тартарары, сквозь землю, но в решительный момент чудом удержался на земле и вот, цел и невредим, виднеется и шумит внизу*». Кажется, он уже видел роман, жил внутри романа, писал для него пейзажи:

Я скажу до свиданья стихам, моя  
мания,

Я назначил вам встречу со мною  
в романе...

А это эскизы к «*Рождественской звезде*» —

А там и рассвет занимался. До двух  
Несметного неба мигали богатства...

У каждого из нас есть такие потаенные места, где мы были счастливы когда-то и к которым постоянно возвращаемся...

\*\*\*

Во Всеволодо-Вильве было фортепиано, вечерами Пастернак импровизировал, и музыка в его стихах. В «Балладе» — «Впустите, мне надо видеть графа!» — когда-то так хотелось видеть Скрябина, Лучезарного, и он бежал за ним по Мясницкой. И Сережа Есенин бежал по снегу за учителем — «Я хочу видеть этого человека!»

В «Балладе» — зима:

Ей недоставало лишь несколько звеньев,  
Чтоб выполнить раму и вырасти в звук,  
И музыкой — зеркалом исчезновья  
Качнуться, выскальзывая из рук.  
В колодец ее обалделого взгляда  
Бадьей погружалась печаль и, дойдя  
До дна, подымалась оттуда балладой  
И рушилась былью в обвязке дождя.

Это — на всю жизнь — «И не бить стекла...»

Вся жизнь — в «Балладе» — зима, лето, август, Преображение — огни, топот лошадей, дом с колоннами, лакей со свечой...

Летом шестнадцатого года, уезжая из Всеволодо-Вильвы, Борис Пастернак написал на конторском бланке:

Уже в архив печали сдан  
Последний вечер новожила.  
Окно ему на чемодан  
Ярлык кровавый наложило.  
Перед отъездом страшный знак  
Был самых сборов неминуей —  
Паденье зеркала с бумаг,  
Сползавших на пол грязной кучей.  
Заря ж и на полу стекло,  
Как на столе пред этим лижет,  
О счастье, зеркало цело,  
Я им напутствуем — не выжит.

О, эти пятна солнца! Какое счастье — зеркало не разбилось! Тягостное воспоминание — походя убитая птица:

Рослый стрелок, осторожный охотник,  
Призрак с ружьем на разливе души!

Не добирай меня сотым до сотни,  
Чувству на корм по частям не кроши...

Название сборника стихов должно быть таким же свободным, как и сами стихи, скажем, «Раскованный голос». Маяковский назовет свою последнюю поэму — «Во весь голос».

Стихи писались в Москве, Всеволодо-Вильве, Перми, Елабуге — его занесло и в этот маленький город на Каме, где закончится земная жизнь Марины Цветаевой. Здесь он прочитал сборник Маяковского «Простое как мычание». Свою книгу стихов он назвал все-таки — «Поверх барьеров».

В Феврале Пастернак в Москве — пишет роман из времен Великой Французской революции. Ночь. Человек сидит за столом и читает Библию. Это рилькиевский *Lesender* — *Читающий*:

Я зачитался. Я читал давно.  
С тех пор, как дождь пошел хлестать  
в окно.

Весь с головою в чтение уйдя,  
Не слышал я дождя...

«Подумайте.... Море крови и грязи начинает выделять свет». И Пастернак показал рукой, как выделяется свет.

Мартовским утром Пастернак пришел к Маяковскому в гостиницу «Люкс» в Столешниковом. Солнце заглядывало в комнату совсем как в «Облаке» — «Солнце нежненько треплет по щечке кафе». Маяковский одевался и декламировал «Войну и мир», и Пастернак опять слушал его с перехваченным дыханием.

И в это лето были стихи, и женщину звали — Елена Виноград, а новая книга называлась «Сестра моя жизнь» с подзаголовком — «Лето 17-го года» — книга Воробьевых гор, Нескучного сада. Это — летняя книга, это его поэтохроника. В ней Лебяжий переулочек, «коробка с красным померанцем»:

Из рук не выпускал защелки.  
Ты вырывалась,

И чуб касался чудной челки  
И губ— фиалок...

Елена смеется в этой книге, даже капли дождя смеются, целуясь «и не разлучатся» — как влюбленные в последнем стихотворении Пастернака —

И дольше века длится день,  
И не кончается объятье.

Ветка вбегает из сада, и Пастернак узнает в ней себя, как Есенин узнал себя в клене. В книге — весенний дождь перед Большим театром — митинг, Керенский; поездка в саратовскую глушь за Еленой; и станция со странным названием Распад; когда-то друзья были — *Вруда*, *Пудость*, *Тикопись*...

Летний день. Зеркальная дверца трюмо открывалась, и все, что было в саду, пробегало в зеркале и преображалось:

Огромный сад тормозится в зале,  
Подносит к трюмо кулак,  
Бежит на качели, ловит, салит,  
Трясет — и не бьет стекла!

Это повторяется и повторяется — «и не бьет стекла» — как будто специально для Сергея Есенина, который сейчас перед зеркалом сдвигает соколиные брови, поправляет кудри, — перед зеркалом, которое он разобьет в последнем декабре...

«Очки по траве растерял палисадник» — это пятна солнца, это радость жизни, это пересыпаемый песок — в сучках и улитках мерцающий кварц, не песок, а кварц, жаркий, мерцающий! И сосны! И свобода!

Лето в этой книге — не просто лето, одно из лет, а именно лето семнадцатого года. Осень ушла в другую книгу — «Темы и вариации». Пастернак прятал ото всех свою любимую летнюю книгу. Но лето прошло, и все вокруг менялось. Ему позвонил на Сивцев Вражек Маяковский — он поставил имя Пастернака на свою афишу. Пастернак «впервые как с чужим говорил со своим любимцем».

— Надо было узнать, жив ли я еще и не бросил ли литературу?

— Мы уже виделись весной.

Кажется, что это сцена из последней части «Доктора Живаго»...

А потом была осень. «Озверели все...»

Он писал теперь роман о Жене Люверс, хотел соединить стихи и прозу, потому и не показывал никому стихи. «Сестра моя жизнь» по названию перелилась в «Доктор Живаго». Глава «Прощание со старым» — переписанная книга стихов...

Поэзия была в московских названиях — *Пречистенка*, *Сивцев Вражек*, *Лебяжий*. Угол Молчановки и Серебряного переулочка Пастернак называл «заколдованным переулочком».

Перекрестка поворот...

Сейчас этот угол разрублен Новым Арбатом...

На Поварской, рядом с заколдованным перекрестком на вечере у Амари Пастернак сидел рядом с Цветаевой. «Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но не зная и тогдашних замечательных ее «Верст», я инстинктивно выделил ее из присутствующих за ее бросавшуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что — нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищение». Пастернак всем и всюду говорил о романе — «я еще не написал такой книги, которая касалась бы всех». Конечно, он и Марине сказал: «Я хочу написать большой роман»...

«Солнца ладонь на голове моей» — читал Маяковский. Он, конечно, был первый на этом вечере. Есенина-то не было. Весной восемнадцатого года роман для Пастернака кончился — и в жизни и в литературе. У него это всегда совпадало. Елена уехала, а роман он в конце концов сжег.

Он стал советским служащим — под крылом Луначарского, в том самом Наркомпросе, откуда бежал Мандельштам. У него была такая работа — составлять охранные

грамоты. А воскресенье — на огорожке родителей по Киевской ветке, потому что картошка — это жизнь. *«Свойство пастернака — расти в земле и обрастать землей; да, таково свойство этого вида».*

Осенью он простудился и слег. Он в глухом, под горло, свитере. Из окна комнаты в Лебяжьем переулке виден Кремль. В декабрьских метелях он казался то бредущим путником, то кораблем...

Под сумерки к тебе в окно  
Он всю медью звонниц ломится.  
Боится, видно: год мелькнет, —  
Упустит и не познакомится...  
За морем этих непогод  
Предвижу, как меня, разбитого,  
Ненаступивший этот год  
Возьметса сызнова воспитывать.

Вот он несет лопату алых углей из голландской печи в другую печь. Сидит перед огнем в глухом, под горло, уральском свитере, мешая уголья — этого он никому не доверял...

В окно виден Кремль — в буран конца 1918 года...

Почему-то хотелось, чтобы скорее пришел январь...

Вот он пришел и лег лучом...  
Он вне себя. Он внес с собой  
Дворовый шум и — делать нечего:  
На свете нет тоски такой,  
Которой снег бы не вылечивал.

## 6. ГОЛОС

А что, может быть, дружба — самый большой талант Ахматовой. Она боялась, как бы Мандельштам в нее не влюбился; просила его пореже приходить. Конечно, он обиделся...

В шестнадцатом году она была в Бахчисарае возле умирающего Коли Недоброво.

Первый луч — благословенье Бога,  
По лицу любимого скользнул...

А с Борисом Анрепом она рассталась в февральские дни семнадцатого. Он звал ее с собой в Англию; из-за нее перешел Неву по льду, офицерские погоны спорол.

Мне голос был. Он звал утешно,  
Он говорил: «Иди сюда,  
Оставь свой край, глухой и грешный,  
Оставь Россию навсегда...»  
Но равнодушно и спокойно  
Руками я замкнула слух,  
Чтоб этой речью недостойной  
Не осквернился скорбный дух.

Потом убрала из стихов — *«Загляделся на рыжих красавиц»* — не в ревности дело. *«Но вечно жалок мне изгнанник...»*

Вот ведь как получилось у шестерых:

Мне голос был...  
Если крикнет рать святая...  
Россия, Лета, Лорелея...  
Превозмогая обожанье...  
Но землю, с которой вдвоем голодал...  
Тоска по родине...

Их немного — таких стихов; *об этом* — нельзя много.

Анреп уехал в Англию, а вот Коля Гумилев вернулся домой из Франции. Все бы она простила ему, но не стихи Синеи Звезде — девушке, в которую он влюбился в Париже.

Гумилев не понимал жену. Как же так — *«Ты свободен, я свободна»* — и вдруг —

— Надо расстаться...

— И зачем ты все это затеяла?

Левушка по-прежнему жил у бабушки. Анна Андреевна убеждала себя, что там ему лучше; вышла замуж за Владимира Шилейко. Он был нелеп, ревнив и остроумен, этот египтолог, египтянин — с ударением на первом слоге, так смешнее.

Они поселились в Москве, в Третьем Зачатьевском переулке. Перед домом — тополь. Улицы завалены снегом, пешеходная тропа протоптана посреди мостовой.

В конце восемнадцатого года всех шестерых судьба в последний раз свела вме-

сте — на этот раз в Москве. Здесь была Марина Цветаева с ее ревностью, с ее стихами к Ахматовой. Анна Андреевна *«до того достаскала их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама — одна из самых больших моих радостей за жизнь».*

Так говорила Марина Цветаева. *«Не было этого»* — повторяла потом Ахматова.

Но рассказ Осипа был, и радость Марины — была.

Уже кленовые листья  
На пруд слетают лебединый,  
И окровавлены кусты  
Неспешно зреющей рябины...

Как страшна эта рябина в есенинском *«Сорокоусте»* — *«головой разможжась о плетень»*... У Пастернака — совсем по-другому:

Кто коврик за дверьми  
Рябиной иссурмил...

## Как делать литературу?

*Одним из самых интересных событий Открытого уральского поэтического фестиваля «СловоНова» (29-31 марта, Пермь) стала творческая лаборатория «Как делать литературу? Опыт регионального культурного проектирования». Как действовать начинающему поэту? Как издать книжку? Что такое толстые журналы и заменяет ли их Интернет? Зачем нужны фестивали? Эти и многие другие вопросы обсуждали кураторы и культуртрегеры уральского региона. «Вещь» выбрала наиболее интересные и рифмующиеся с пермским опытом высказывания участников творческой лаборатории.*



### **Леонид Быков, литературовед, член редакционного совета журнала «Урал» (Екатеринбург):**

Прозаик, стихотворец, драматург без журнала обойтись может. Сегодня каждый пишущий — независимо от того талантлив он или бездарен — может стать автором книги. Если найдутся деньги, можно самому ее напечатать. Но без журнала не может обойтись литература. Каждый журнальный номер — свидетельство того, что литература — не сумма пишущих, а семья. И как в любой семье, отношения у тех, кто входит в это содружество, складываются по-разному. Но вместе с тем, предполагается и определенное единство — пускай и конфликтное. На основе этой конфликтности иногда создается развитие, движение.

Просмотрев журнал с первых номеров, мы можем увидеть, как изменялся литературный климат того или иного региона. Как постепенно изживалась провинциальность, исчезало понятие «уральская литература». Потому что не бывает литературы региональной — пермской, свердловской или тюменской. А есть русская литература Урала и Сибири.

Но каждый журнал существует не только в пространстве своего региона, но и в пространстве культурном — пространстве литературы. Важно, как он себя позиционирует в

пространстве себе подобных литературных журналов. Мне сейчас не хватает ощущения полилога между журналами, которое было в советском времени. «Урал» выходил в Свердловске, «Волга» — в Саратове, «Сибирские огни» — в Новосибирске, «Дон» — в Ростове. И между ними было такое же соперничество, как между футбольными командами.

Для кого существует журнал — для литераторов или читателей? Журналу важно учитывать интересы разных групп — и тех, кто пишет, и тех, кто читает. Найти это равновесие бывает непросто. В разные годы эта пропорция складывалась по-разному. Я помню времена, когда свердловские писатели жаловались в обком партии, что их не печатают в «Урале», а печатают писателей, живущих в других регионах. На что им в редакции отвечали: «А вы пишете хорошо!»

С другой стороны, редакция хочет, чтобы в каждом номере печатались шедевры. Но так не было ни во времена Некрасова, ни во времена Твардовского, ни во времена Олега Богачева (нынешний редактор журнала «Урал», — прим. редакции). Поэтому каждый редакционный коллектив предлагает читателю те литературные блюда, которые можно изготовить из имеющихся ингредиентов.

Были времена, когда журнал «Урал» выходил тиражом 80 и даже 100 тыс. экземпляров. Сейчас — 3 и 2 тыс. Но я могу предположить, что читателей у журнала не меньше, потому что многие его читают в интернете.

У журнала были сложные времена, когда его возглавлял екатеринбургский драматург Николай Коляда. Но благодаря его авторитету журнал смог выжить в нелегкие экономические времена. С приходом новой команды у «Урала» появилась возможность заботиться о поддержании эстетического уровня. Что касается будущего журнала, то оно зависит не только от тех, кто его делает и в него пишет, но и от тех, кто его читает. Читатели за журнал отвечают не меньше, чем писатели.

<http://uraljournal.ru/>



### **Елена Сунцова, поэт, издатель, куратор фестиваля «ЛитературРентген» (Нью-Йорк):**

Сначала я расскажу о фестивале актуальной поэзии и Всероссийской поэтической премии «ЛитературРентген», которую придумал екатеринбургский поэт Василий Чепелев в 2002 году и которой я занимаюсь последние три года.

Премия «ЛитературРентген» вручается ежегодно в трёх номинациях. В главной номинации с 2011 года премия присуждается лучшему молодому (до 25 лет включительно) поэту, пишущему на русском языке и проживающему на территории России, включая Москву и Санкт-Петербург, стран СНГ и Балтии. За победу в главной номинации вручается диплом и денежный приз 3333 долларов.

В номинации «Фиксаж» премия присуждается лицам, чья деятельность принесла наибольшую пользу нестоличному литературному процессу. Формулировка номинации «Фиксаж»

ежегодно меняется. Третья номинация — «Зоны роста» — для начинающих поэтов до 17-ти лет включительно, проживающих вне столиц. Присуждается лишь в случае наличия достойных кандидатов. Победителям в номинациях «Фиксаж» и «Зоны роста» вручаются дипломы.

Кандидатуры на соискание премии в номинациях «Фиксаж» и «Зоны роста» могут предлагать все участники экспертного совета премии (номинаторы, члены жюри). В номинациях «Фиксаж» и «Зоны роста» победители определяются проектом «ЛитературРентген». Оргкомитет проекта вправе при этом как производить обсуждение с коллегией номинаторов и жюри, так и не производить.

Система отбора премии сложна. В коллегию номинаторов премии, ежегодно частично обновляемую, входят более тридцати кураторов, организаторов литературного процесса, поэтов, издателей из самых разных регионов России и ближнего зарубежья. Каждый номинирует одного поэта, из числа которых таким образом формируется длинный список премии. Затем коллегия номинаторов голосует по лонг-листу, определяя короткий список из десяти поэтов. Короткий список предлагается вниманию жюри премии, которое также ежегодно частично обновляется и включает в себя известных поэтов, главных редакторов и редакторов отделов поэзии ведущих журналов, критиков и др. Трое финалистов премии приглашаются на церемонию вручения в Екатеринбург.

За десять лет в мероприятиях фестиваля приняли участие практически все уральские поэты самых разных поколений, а также более ста поэтов, членов жюри и номинаторов премии из самых разных городов мира. Жюри премии ежегодно включает порядка сорока экспертов со всего мира — известных поэтов, редакторов литературных журналов и литературтрегеров.

Осень прошлого года я издала антологию премии «ЛитературРентген», в которую вошло по одному стихотворению 159 поэтов, выдвигавшихся на соискание премии за все годы ее существования. Сейчас я планирую выпустить серию книг фигурантов премии. Возможно, в этом году премия будет вручаться в Санкт-Петербурге.

Моя издательская деятельность началась в 2011 году. Сначала я подготовила к печати книги Евгения Туренко «Предисловие к снегопаду» и Екатерины Симоновой «Сад со льдом». Я выступила составителем сборников и сверстала их. Но печатались книги в московском издательстве «Русский Гулливер». Потом я поняла, что хочу издавать книги других авторов, поэтому нужно открывать собственное издательство. Я купила в Нью-Йорке ISBN (*International Standard Book Number — международный стандартный номер книги, необходимый для распространения ее в торговых сетях и автоматизации работы с изданием, — прим. Редакции*) и стала издавать книги.

К настоящему времени издано 20 книг, которые делятся на три серии: современная поэзия, переводы и проза. Я издаю книги тех авторов, которых считаю талантливыми. В России катастрофическая нехватка издательств, которые бы выпускали современную поэзию, переводную литературу и некоммерческую прозу.

Все книги можно бесплатно скачать на сайте издательства или заказать на lulu.com — издательстве по требованию, которое позволяет любому загружать и издавать книгу без копейки денег. Кроме того, бумажные версии книг можно купить в Москве, Санкт-Петербурге или заказать на сайте литературного журнала Ното Legens. Для меня стало большой неожиданностью, что несмотря на то, что электронные версии книг находятся в свободном доступе, бумажные книги тоже покупают. В Москве и Санкт-Петербурге все сигнальные тиражи были моментально раскуплены.

Территориальная удаленность от России — сейчас я живу в Нью-Йорке — никогда не мешала мне курировать фестивали, общаться с авторами, многих из которых, я, кстати, никогда не видела.

<https://sites.google.com/site/elenasuntsova/>



### **Виталий Кальпиди, поэт, издатель (Челябинск):**

Почему стоит заниматься литературой? Почему я занимаюсь литературой? Если мы начинаем учиться у жизни, которая нас окружает, то ничего, кроме монстров, из нас не выйдет. Уроки, которые преподносит нам жизнь, очень жесткие — примитивные, но жесткие. При этом можно оставаться вполне себе презентабельным человеком, даже стать президентом любой страны. Но ты будешь монстром.

Так случилось, что литература имеет другой опыт — более мягкий, лояльный. Этот опыт слетел с неба. Он не рифмуется с жизнью никак. Такие приоритетные вещи, как нежность, попытка примириться со смертью, учесть, что на свете есть кто-то, кроме тебя, нам предлагает литература. И из нас получаются более-менее приличные люди, передвигающиеся по миру со скоростью сентиментальности — самой быстрой и эффективной скоростью.

Для того, чтобы заниматься тем, чем занимаюсь я и мои коллеги так, чтобы был результат, нужны три условия. Во-первых, нужно очень хотеть это сделать. Во-вторых, не пытаться на этом заработать. И в-третьих, потратить часть своей жизни — ни времени, ни усилий, а часть жизни. Если эти три составляющие вами осознаны, то уверяю вас, через пять-десять-пятнадцать лет, ваши усилия вознаграждаются довольно-таки успешными результатами.

Вам потребуется команда людей, которых нужно будет дисциплинировать, поддерживать и не ссориться с ними. Вы можете с ними расставаться, как с коллегами. Но не делайте из людей, которые не так вдохновлены, как вы, врагов.

Любой проект требует средств. Бюджет любого проекта вы должны более-менее представлять. После того, как вы его определили, вы умножаете его на три и получаете примерную сумму.

Где взять деньги? Денег у нас с вами нет. Значит, вы должны научиться оптимизировать все, что только можно. Вы должны сами сделать сайт. 15 тыс. рублей вы уже сэкономили. Верстка — то же самое. Таким образом, как минимум 40% бюджета вы уже реализовали.

Остается существенная часть суммы. Где ее взять? У нас в стране есть два вида денег — частные и бюджетные. Когда интеллигентный человек просит у богатого денег, он его презирает. И богатей это чувствует. Вы еще не войдете к нему в кабинет, он уже просчитает, с какими чувствами вы к нему пришли. Денег вам не даст и правильно сделает! Поэтому у вас есть возможность заработать оставшиеся деньги самому. Но для этого вы должны получить хорошую профессию.

Если у вас не получается заработать эти 60%, вы обращаетесь к бюджету. У нас говорят, что государство не обращает внимание на культуру. Люди, которые сидят во власти, в министерстве культуры, действительно не много понимают. Но они и не должны ничего понимать — они чиновники, проводчики денег, функционеры. Они не совсем понимают, с чем вы к ним придете. Тем не менее, проанализировав массу книг, вышедших за последние 20 лет, я обнаружил, что так или иначе, подавляющее большинство проектов спонсирует государство, то есть бюджет.

Не знаю, почему наше ОПГ — организованное преступное государство — еще спонсирует культуру. Возможно, это юз Советского союза или застрявшая схема — культура должна

быть. И чиновники знают об этом. Но не обращайтесь напрямую к ним, ищите гранты — буфер между вами и чиновниками, проводчиками денег.

Ничего не обещайте! Не обещайте, что благодаря шеститомнику Набокова чукчи станут говорить на английском. Не будут! Те, кто любят Набокова, его уже знают наизусть, а те, кто не прочитали до сих пор, его читать не будут. Ничего не обещайте. Существует культура — это ваше личное дело. Ваша личная инициатива. И ваша задача ее реализовать. По той простой причине, что вы этого хотите. И это самый главный и единственный аргумент, который оправдывает все, что вы желаете в этом мире оставить помимо отходов своей иной жизнедеятельности.

<http://marginaly.ru>



### **Константин Рубинский, поэт, издатель (Челябинск):**

Помимо поэзии и драматургии я вот уже 18 лет занимаюсь с детьми в литературной студии «Твердый знак». За это время я понял довольно тривиальную истину: каждый пишущий ребенок, особенно подросток, одинок. В принципе, ничего удивительного в этом нет: каждый человек одинок. Но в случае с подростком дело пахнет не «экзистухой», а вполне конкретным одиночеством.

В большинстве случаев никто не знает, что с ним делать. Потому что рядом нет родителя, педагога, руководителя литературного объединения. Когда подросток начинает писать стихи, родители тревожатся. Педагог русского языка и литературы говорит: если ты поэт, значит напиши стихи к 23 февраля и 8 марта. Понятно, что все эти факторы приводят к тому, что через некоторое время человеку противно взять в руки ручку. Музыкальных школ у нас много, а литературных — нет. И нужно что-то с этим делать.

Поэтому мы выпустили журнал «Стержень». Марина Цветаева как-то сказала, что нужно писать книги, которых не хватает тебе самому на столе, то есть настольные книги. Я пишу с юного возраста, и вот такой книги мне всегда не хватало на своем столе. Этот проект ни от кого не зависит, финансируется на мои деньги.

Российский журнал молодой поэзии «Стержень» — это одновременно и публикатор, и интерактивный мастер-класс для авторов. В нем могут публиковаться дети и подростки в возрасте до 21 года. После этого возраста там может опубликоваться автор на правах эксперта.

В первом, пилотном, номере напечатаны ребята из 11 регионов страны. Стихи проходили строгий отбор. Экспертами выступили Виталий Кальпиди, Нина Ягодинцева (Челябинск), Аркадий Застырец (Екатеринбург), Лев Оборин и Алексей Кошечев (Москва). Стихи отбирались в журнал не по принципу «слабые или сильные». Мы понимаем, что это не результат, а процесс. И к нему нужно относиться педагогически. Стихи могут быть даже слабыми, но интересными с точки зрения перспективы, дальнейшего разговора о них.

Открывает журнал рубрика «Без ремарок», в которой напечатано одно стихотворение одного автора, выбранного редактором, без комментариев и поправок, что для этого журна-

ла совсем не характерно. В основной рубрике — «Выход в свет» — публикуются молодые поэты, чьи произведения разбираются экспертами: они делают пометки на «на полях», а внизу публикуют резюме, которое является не приговором, а скорее, пожеланием, советом.

Еще одна рубрика «Апгрейд» — форма разбора, при которой понравившееся стихотворение не обсуждается экспертом чисто теоретически, но переписывается, уточняется, «переформатируется», словом — проходит своеобразный «апгрейд», сохраняя при этом внутреннюю стилистику и идею. В разделе «Мастера» публикуются два стихотворения экспертов: одно написанное в юном возрасте, второе — сегодняшнее. Таким образом, можно проследить этап взросления, изменения почерка, стержня. И, наконец, рубрика «Домашка» с творческо-игровым конкурсным заданием.

Когда журнал вышел, начались споры. Одни считали, что пишущего ребенка не нужно замечать и хвалить, потому что тогда он, одинокий, под грузом собственного дара, если такой есть, вырастет и будет настоящим поэтом. Второе мнение — прямо противоположное. Пишущего подростка нужно нахваливать, потому что в наше время подросток, который пишет, уже достоин всяческой похвалы. И ни в коем случае его нельзя ругать, потому что вы травмируете его нежную психику. Третье мнение — подростка нужно бить перед каждой публикацией и выходом на сцену. И наконец, четвертое — детского творчества нет, что все это нормальный этап взросления, который давно описан Павловым и Сеченовым. И значит, никакого предмета для разговора нет.

Но если взять все эти радикальные точки зрения и соединить в одной, то, возможно, получится журнал «Стержень». Мы верим, что детское творчество существует, что разговор о нем важен и нужен, что пишущему ребенку нужна осторожная и деликатная помощь с максимальным уважением к его творческим попыткам, с пониманием того, что 95% пишущих, конечно, замолкнут. Тем не менее, такая поддержка нужна.

<http://www.rubinsky.ru>



### **Александр Петрушкин, поэт, издатель (Кыштым):**

Начальную точку отсчета существования портала «Мегалит» каждый определяет по-своему. Официально он открылся 26 июля 2008 года. Для меня же его история начинается много раньше, а именно с конца марта 2003-го. Именно тогда группа челябинцев выпустила первый номер газеты «Транзит-Урал» — это было восьмистраничное издание со слепой печатью на ризографе. Во «вступилровке» была обозначена основная идеология и стратегия поведения этого и последующего издания.

Приведу цитату (прошу прощения за ее продолжительность):

«Не столь важно — как и кем мы будем выглядеть для других, гораздо выше всегда будет стоять другое — проявление воздуха, из которого можно будет ткать литературное покрывало, появление реального выхода (выход = вход) из челябинского маниакально-

депрессивного психоза, синтез в наших квартирах-катакомбах новых вирусов и бактерий, что смогут заразить новичков, и так далее, и тому подобное... Этот маленький шаг надо сделать сейчас — иначе так и будут подыхать (извиняться — за экспрессивность выражений — не посмею!) молодые авторы от древнерусской тоски: неостребованности другими собеседниками (или коллегами) и, как следствие, невозможности самоидентификации — с вопросами типа: мама, я слон или блоха? Нелепо говорить о процессе и своём месте в нём, надо жить, писать и помнить, что интересную (трагичную? весёлую? бесшабашную? безголовую? разумную? — выбирайте сами, но главное — свою) жизнь спровоцировать можем только мы сами. Никто нам не поможет. Только бумага или экран монитора и судьба, которую мы выбрали сами...»

Постепенно журнал «Транзит-Урал» разросся до 64-х страниц формата А4, со своим кругом авторов, своей группой читателей, приобрёл издателя, регистрацию как СМИ и, что, безусловно, важно, команду: Олег Сеницын, Наталья Деревягина и ваш покорный слуга. Была запущена серия фестивалей современной поэзии Урала и Сибири с одноимённым названием. Единственное, что становилось препятствием на путях развития, — региональная (уральская) направленность.

Затем, в 2006 году, произошло то, что называется биографией. Я переехал в небольшой город, расположенный почти ровно между областными центрами Екатеринбург и Челябинском. Город назывался Кыштым, и в городе был Интернет. Несколько отдохнув от перемен своей биографии, в 2007 году мотор опять закрутился — результатом чего стали литературные фестивали «Новый транзит» (правопреемник челябинского фестиваля) и фестиваль литературы малых городов им. Виктора Толокнова, а также организация межгородского поэтического семинара «Северная зона». Оказалось, что нет лучшего места для организации какого-либо проекта, чем литературные пустоши малых городков, в которых — как это ни странно — есть люди пишущие и делающие это хорошо, поскольку тусовочная зараза их не коснулась.

Неожиданно на базе перечисленных фестивалей через прямое общение за кулисами фестиваля (в том числе и через Сеть) сгенерировалась общность новых уральских писателей. Поколением их назвать нельзя — поскольку различие в жизненном и литературном опыте было огромно: от Яниса Грантса, рождённого сразу после смещения Хрущёва, или Салавата Кадырова, появившегося на свет за два года до похорон Сталина, до Дмитрия Машарыгина, явившегося в романтический период перестройки, и Александра Букасева, уже не знавшего СССР ни в каком виде. Что объединяло эту группу авторов? Общий метафизический код языка, общий глоссарий/шифр, и по сей день прозрачный лишь узкому кругу литераторов, общая идея, что стих пишется своей судьбой и на своём тощем теле, а поэты разговаривают на стрекозином языке (стрекоза предполагалась мандельштамовская). Когда собирается два человека — получается разговор, когда три — публикация, если авторов десять-пятнадцать — необходим журнал, как овеществление стрекозиноного крылатого гула, который должен быть услышан. Так в 2009 году был создан журнал «Новая реальность». Вначале через этот журнал в русскоязычный литературный процесс была инкорпорирована и узаконена в своих правах, собственно, новая уральская поэтическая общность. После того, как эта малая цель была достигнута в той или иной мере, журнал открылся, и это, понятное дело, послужило только его развитию. Сейчас у журнала — десять региональных представителей, которые предлагают материалы к публикации, — это позволяет, несмотря на прописку в Кыштыме, журналу выходить ежемесячно, а благодаря развитию в мире технологии Print on demand (POD) — иметь и бумажную версию издания. Ну и как бы самое важное (и в то же время абсолютно естественное), что случилось после появления «Новой реальности»: вокруг журнала стали объединяться другие издания, не вошедшие в основной журнальный пул («Журнальный зал») — это объединение сейчас

называется евразийский журнальный портал «Мегалит», и в его состав входит более 30-ти изданий из самых разных точек мира.

Теперь несколько подробнее о самом портале.

У истоков его стояло четыре издания: «Новая реальность», «АльтерНация» (редактор Дмитрий Дзюмин), кемеровские «Знаки» во главе с Игорем Кузнецовым (этот журнал в результате манипуляций тамошних отдельных литературных чиновников прекратил своё существование) и красноярский «День и ночь».

Что такое «Мегалит» сейчас? Это тридцать журналов и альманахов, издающихся в современном русскоязычном литературном пространстве. Это электронная библиотека редких современных книг, которые доставляются до читателя электронным путём. Это кинозал «Мегалита», с помощью которого любой заинтересованный может побывать на литературном мероприятии, каковое в силу географических или временных причин — пропустил. Это обширный каталог библиографических справок пишущего мира.

Каковы перспективы? Выполняет ли задачи, которые перед ним были поставлены?

Задачи по созданию вертикальных и горизонтальных коммуникаций, безусловно, выполняет. Внимание к portalу, а значит, и к его авторам растёт. Мы сейчас, безусловно, опосредованно можем ввести нового автора в современный литературный процесс; что будет с ним дальше — в его руках, поскольку нянчиться, конечно, никто не будет; хотя некоторые авторы и пытаются «присесть на шею» — тогда приходится их жёстко приводить в чувство.

Кто помогает? Смотри что называть помощью. Финансово проект существует на добровольные пожертвования изданий, вошедших в наш журнальный пул. Морально — за счёт поддержки наших читателей и авторов. И то, и другое — непостоянно, но отдача от Вселенной всегда больше, чем ты рассчитываешь. Так и живём.

Что мешает? Да, в общем-то, ничего. Ну, есть некоторая лень редколлегий мегалитовских изданий — приходится напоминать о себе. Но к этому тоже относиться с пониманием.

Какие сейчас я вижу перспективы развития? Прежде всего, как мне видится portalу пора начать осуществление собственной издательской программы, возможно, по технологии POD — создание активно работающего книжного (и не только) интернет-магазина. Конечно же, для этого нужна более широкая команда, нежели та, что есть на данный момент. Хотелось бы также осуществить и довести до реализации проект поэтического видеоархива. Некоторые наработки уже есть сейчас (я имею в виду видеоархив «Фигуры речи»), то есть о варианте не простых читок на камеру, а о создании серии документального кино, в котором помимо стихов, был бы отражен и быт — то мясо, из которого поэт/прозаик делает свою литературу. Подобная фиксация материала, как мне кажется, не менее, а скорее даже более важна, чем сами написанные тексты. Ну и наверное, стоит сказать, что на данный момент поступают предложения по объединению в единый пул «Мегалита» и «Читального зала» (Евгения Степанова). Что из этого получится, мне пока не совсем понятно, но именно потому и интересно.

<http://www.promegalit.ru/>

Андрей Кудрин

## Лбовщина до «Лбовщины»

Досоветская художественная литература о пермских «лесных братьях»

Летом 1910 года Андрей Фирсов — репортёр, специализировавшийся на путевых заметках, совершил поездку на пароходе по Каме, во время которой посетил Пермь. Свои впечатления от этого визита он описал так: *«Героем дня в городе во время моего пребывания в нём был разбойник Лбов, бывший унтер-офицер Преображенского полка<sup>1</sup>. Его имя с трепетом и с каким-то почтением произносилось всюду. Этот современный Ринальдо-Ринальдини своими подвигами, пожалуй, затмил славу своего легендарного предшественника<sup>2</sup>. Рассказывали, что он высокого роста, плечист, строгий брюнет с бледно-матовым лицом, носит тёмную бородку. Обладает он неслыханным мужеством, способностью найтись в самую критическую минуту, искусством превращаться, по мере надобности, из юноши в старца и наоборот и даже долею благородства и великодушия»<sup>3</sup>.*

К моменту написания этих строк Александр Лбов, знаменитый уральский экспроприатор эпохи первой русской революции, уже два года как был казнён, но истории о нём, передаваемые из уст в уста, по-прежнему находились в центре внимания пермяков. Лбов, скрывшийся от полиции после восстания в Мотовилихе, с помощью местных и приезжих боевиков совершил попытку превращения единичных вооружённых выступлений в Прикамье и на Среднем Урале в антиправительственную партизанскую войну. К осени 1907 года она потерпела неудачу, последние её очаги были подавлены в 1908 году.

Громкие судебные процессы по делам «лесных братьев»<sup>4</sup>, проходившие в течение нескольких лет, статьи и заметки в газетах, посвящённые этим событиям, были не единственными причинами их популярности. Фигуры Лбова и его товарищей привлекали к себе внимание современников тем, что

они органично объединяли в себе традиционные черты «добрых разбойников» и народных мстителей с образами несгибаемых революционеров, олицетворяя последние надежды сторонников революции на перемены в общественной жизни. Периодические издания того времени пестрели историями о подобных людях, но большинство из них было забыто, и только те из них, кому повезло попасть в поле зрения авторов художественных произведений, в итоге остались в народной памяти. В этом смысле Лбову и лбовцам повезло больше других. К двадцатилетнему юбилею первой русской революции, опираясь на воспоминания современников, молодой пермский журналист А.Гайдар написал небольшую повесть «Жизнь ни во что (Лбовщина)», благодаря которой их помнят до сих пор.

В текущем году наступает очередная годовщина, исполняется 105 лет со дня казни главного героя «Лбовщины». На фоне затянувшегося экономического кризиса и роста протестных настроений эта тема вновь становится актуальной. О ней пишут в блогах и социальных сетях, не иссякает интерес к ней и в прессе. Совсем недавно небольшим, но культовым издательством «Ad marginem» совместно с книжным магазином «Пиотровский» была вновь переиздана и повесть Гайдара<sup>5</sup>.

На этом фоне уместно вспомнить и о других художественных произведениях,

созданных по мотивам революционных событий в Пермской губернии. Мало кто знает, что уже через несколько месяцев после смерти атамана Лбова в одном из уличных цирков Перми показывалось представление о нём<sup>6</sup>, а ещё раньше появилось первое сочинение неизвестного автора, впитавшие в себя как отголоски реальных событий, так и далёкие от действительности легенды. Всего до 1917 года было издано несколько таких произведений: мини-пьеса «Экспроприаторы» (1907)<sup>7</sup>, рассказ Б.Никонова «Гражданское мужество» (1908)<sup>8</sup>, роман В.Осинского «Атаман Лбов — «Гроза Урала» (1908)<sup>9</sup> и книга П.Орловца «Лесные братья. «Три героя». Лбов, Савицкий и Азеф» (1910)<sup>10</sup>. Возможно, что существовали и другие сочинения на эту тему<sup>11</sup>.

Первой стала крошечная пьеса, напечатанная в нижегородской газете «Судоходец» в самый разгар лета 1907 года. Её действие происходит на одном из речных почтово-пассажирских судов вскоре после известной экспроприации на пароходе «Анна Степановна Любимова»<sup>12</sup>. Драматург под скромным псевдонимом *Никто-не* создал комическую миниатюру в трёх частях, события в которых разворачиваются почти одновременно, как на нижней и верхней палубах судна, так и на капитанском мостике. Автор погружает читателя в атмосферу самых невероятных слухов и сплетен, навдвинувших прикамские и поволжские города

<sup>5</sup> См. например, последнее переиздание повести Гайдара А. Жизнь ни во что (Лбовщина). М.: «Ad marginem», 2011.

<sup>6</sup> См. Кудрин А.В. Образ А.Лбова в неопубликованных воспоминаниях современников. Эпизоды // Мотовилиха: открывая новые страницы: тезисы докладов научно-практической конференции. Пермь: «Пушка», 2011. С. 113.

<sup>7</sup> См. Номера газеты «Судоходец» за 6, 11 и 18 июля 1907 года.

<sup>8</sup> Никонов Б.П. Гражданское мужество. Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива» на 1908 г. Т.2. № 7. С. 393-406.

<sup>9</sup> Осинский В. Атаман Лбов — «Гроза Урала» (Роман из жизни современной вольницы и подвижников). Выпуск I. Лбов в Финляндии (среди петербургских дачников). С-Пб.: «Дачный курьер», 1908.

<sup>10</sup> См. Репринтное издание Орловца П. Лесные братья. «Три героя». Лбов, Савицкий и Азеф (сенсационный роман в 2-х частях). N.Y. Brooklyn, 7. Книжный магазин Kersha.

<sup>11</sup> См. Кудрин А.В. Указ. Соч. С. 113.

<sup>12</sup> Экспроприация на пароходе «Анна Степановна Любимова» состоялась в ночь на 3 июля 1907 года по старому стилю на Каме недалеко от села Новоильинского. Акция была осуществлена одной из групп лбовцев, сам Лбов непосредственного участия в ней не принимал.

<sup>1</sup> В действительности Лбов был унтер-офицером лейб-гвардии гренадёрского полка.

<sup>2</sup> Ринальдо Ринальдини — главный герой романа немецкого писателя Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников» (1797).

<sup>3</sup> Фирсов А. По Каме // Исторический вестник. Декабрь. 1910. Т. СХХII. С. 1126-1128.

<sup>4</sup> «Лесными братьями» называли себя революционеры, участвовавшие в 1906-07 годах в антиправительственных партизанских выступлениях в Прибалтике, так же именовали себя Александр Лбов и его соратники.

после акции лбовцев. Интересно, что первые две части имеют подзаголовок «Полу-фантазия», а третья — «Фантазия». Кроме времени, произведение внутренне связано общей сквозной темой — экспроприацией. Лбов — единственный главный герой этой маленькой пьесы, он отсутствует, но о нём все говорят.

Первое действие происходит в помещениях 3 и 4 классов, где едут крестьяне, рабочие, мелкие торговцы и прочие представители «простого» народа. В центре общего внимания находится странница, рассказывающая столпившимся вокруг неё «взаправдашнюю» историю о Лбове<sup>13</sup>.

«*Был этот самый Лбов, родные мои, на войне*<sup>14</sup>... <...> ...*пригнали его в Порт-Артур, и приставили к самой что ни на есть огромной пушке, а тут как раз японцы с артиллерией. Он было пушку-то на них навёл, а они его шамозой: — «Проси, говорят, пардону, а то сейчас тебе «банзай» будет»...* <...> ... *Наставили на него шамозу, ну, он, известно, — человек молодой, жизнь-то мила: обробил, так обробил, — прямо самому микаде ихнему в ноги упал: «что хошь, мол, со мной делай — только жисти не лишай!» Ну, хорошо. Поглядел на него микада и говорит: — «Ладно! Жисти тебя не лишу, только ты мне, кавалер, вместо выкупа, помоги Порт-Артур взять»...* <...> «*Укажи ты мне, говорит, с какого боку подкоп подводить? Я тебя, говорит, за это японским генералом сделаю»...*

<...> ...*Облестили, желторожие, Лбова: продал парень присягу, снял с шеи крест...* <...> ...*И говорит микаде: — «Подкладывай ты, микада, мину с правого боку, под третью гору, под тринадцатую пушку, под девятый кирпич. Послушал Лбова микада, подложил мину...*

<...> ...*Ну, забрал микада Порт-Артур, позвал Лбова, и говорит: — «Много я*

*тобой кавалер доволен — принимай живодовскую веру!» — Тот отнекивается: — «Как? По какому случаю? Такова уговора не было!» — Нельзя, говорит микада, тебе без этого японским генералом быть». А Лбов ему: — «Не хочу, коли так, и вашего генеральства». Уговаривал, уговаривал его микада — нет: — «Не хочу и не хочу». Что тут японцам делать? Спрашивают его: — «Чем же нам тебя, кавалер, за верную службу отблагодарить»? Подумал Лбов, подумал и отвечает: «*Подари ты мне, микада, подводную лодку, которая может под водой плавать, буду я на ней по Каме, да по Волге-матушке плавать, да пароходы грабить»...**

<...> *Подарил, слова не сказал, — подарил!.. И мины ему наложил, и шамозы... Вот он теперь на ней и плавает: мырнёт у Казани, а вымырнет у Перми»...*

Реакция слушателей на рассказ странницы разная: от недоверия молодёжи до полного и безоговорочного приятия неграмотных крестьянок. Присутствующий при этом боцман обрывает рассказ странницы, пытаясь предотвратить тревожные слухи. Но поздно — посеяны первые зёрна паники. И вот уже купец подходит к проверяющему билеты помощнику капитана и заявляет: «*Я, господин капитан, с этим господином ехать в одной каюте не согласен!..* <...> *Сами извольте посудить: рубаха чёрная, пояс широкий, сапоги высокие, опять же на голове шляпа*<sup>15</sup>. *Всё книжку какую-то махонькую красненькую читает; через плечё бинокль...* <...> *Бинокль-то, конечно, оно ничего, а может, у него не бинокль — браунинг, али машина какая: — наведёт и готово»...*

Едва его успокаивают, как другие пассажиры начинают жаловаться на «незатворяющиеся» двери, отсутствие крючков на окнах, мерещащиеся им в полутьме бомбы,

динамит в банках из-под икры, пугал с кинжалами в черкесской одежде и прочие плоды воспалённой фантазии.

Наконец один из них осознаёт, что на самом деле бедному пассажиру нижней палубы опасаться нечего: «*Он, этот самый Лбов, семьдесят семь увёрток знает, глаза отводить может»...* — «*По мне, хоть сто Лбовых приходи — вот он я — весь тут! С меня взятки — гладки. Это купцам его бояться, а нам... Сами, пожалуй, там скоро будем, потому не с голоду же помирать»...* Но более обеспеченные уповают на Бога.

Следующее действие разворачивается на верхней палубе<sup>16</sup>. Пассажиров здесь гораздо меньше, состояние их ещё более нервное. Тревога поднимается при малейшем шуме. На корме расположилась группа молодёжи, один из подростков, постоянно прерываемый эмоциональными замечаниями товарищей и других слушателей, читает вслух газету.

«*...Вскоре послышались снизу по лестнице шаги. Это шёл атаман шайки, знаменитый пермский «Ринальдо-Ринальдини» — Лбов, высокаго роста, красивый мужчина, с широким кожаным поясом, за которым торчали четыре револьвера»...* <...> «*В правой руке он держал пулемёт, в левой — отравленный малайский кинжал с четырьмя лезвиями. На голове была шляпа с пером, на лице чёрная маска, на плечах плащ, вышитый красными таинственными знаками. Его окружала свита, тоже вооружённая до зубов, с ожерельями из браунингов и бомб на шеях. На шляпах у всех сверкали электрические фонари»...* <...> ...«*Атаман заявил, между прочим, предлагавшим ему свои деньги и молившим о пощаде пассажирам: — «Нам ваши деньги и жизнь не нужны. Мы снимаем только царския деньги, а убиваем только тех, кто в мундирах»...* <...> ...«*Узнавши, что капитан ранен, атаман крикнул: — «Сокол!*

*Разыщи доктора! Ворон — живее аптеку!» Два стройных молодых человека, на шляпах которых были перья сокола и ворона, мгновенно выступили из свиты, низко поклонились атаману»...* Купец, присутствующий при чтении репортажа, поражённо резюмирует: «*Прямо история про атамана Чуркина, ей Богу! Даже занятней! Слушай, а по спине мурашки, и под сердце подступает»*<sup>17</sup>...

На носу беседуют две, как подчёркивает автор, «зрелых» девицы, рассуждая о том, что более романтично — скромность галантных камских пиратов или дерзость крымских проводников. Между тем, прочие пассажиры из «чистой» публики, охваченные тревогой, настроены более практично. Проверив качество рам и дверей, они настойчиво требуют от капитана поставить возле каждой каюты по вооружённому матросу, прислать слесаря, плотника, машиниста — кого угодно, чтобы исправить замки и т.п.

«*Бросьте, господа — не поможет!» — осаживает их отставной офицер. Парируя раздавшиеся в ответ недоумённые возгласы, он продолжает: «Да потому и не поможет, что у него артиллерия». Публика потрясена: «К-ка-ак, а-ар-тилерия? С чего вы взяли, полковник? — Ради Бога, полковник! — Здесь женщины — объяснитесь, полковник!»*

В ответ полковник читает очередную газету: «*По слухам, во время грабежа на пароход были наведены с берега двенадцати дюймовыя пушки, привезённые Лбовым с войны в разобранном виде и спрятанные в прикамских лесах. В случае сопротивления злодеи, по-видимому, решили потопить пароход вместе со всеми пассажирами. (Откладывая газету). Вот видите! Что пароходныя стенки перед двенадцатидюймовыми снарядами, разрушившими Порт-Артурские бастионы?»*

<sup>13</sup> См. Никто-не. Экспроприаторы. I. На нижней палубе // Судоходец. 6 июля 1907 года.

<sup>14</sup> Настоящий Лбов никогда не был на Русско-японской войне.

<sup>15</sup> Лбовцы во время акции на пароходе «Анна Степановна Любимова» были одеты в чёрные рубахи с широкими кожаными ремнями, у одного из них на голове была шляпа.

<sup>16</sup> См. Никто-не. Экспроприаторы. II. На верхней палубе // Судоходец. 11 июля 1907 года.

<sup>17</sup> «Разбойник Чуркин» — популярный бульварный роман рубежа 19-20 веков, написанный в первой половине 1880-ых годов издателем и редактором газеты «Московский листок» Н.И. Пастуховым.

Некая духовная особа, поглаживая борю, прерывает возникшую паузу: «Остаётся только единая оборона — сугубая молитва ко Господу»...

Одна дама, слышавшая о каком-то чудодейственном псалме для таких случаев, атакует батюшку градом вопросов, тот несколько смущён, но ему на выручку приходит набожный купец, который не только диктует всем желающим содержание псалма и инструктирует, как и сколько раз его петь, но и рассказывает нравоучительную историю, подтверждающую чудодейственную силу божьей молитвы. Записывая псалом, публика немного успокаивается.

Наконец автор обращается к событиям, происходящим на капитанском мостике<sup>18</sup>. На вахте сам капитан, покуривая папиросу у штурвальной будки, ведёт беседу с суевверным лоцманом. Недовольный тем, что приходится самому стоять вахту, капитан чертыхается и ругает Лбова, тревожится за свою пенсию и опасается того, что после недавней удачи лбовцы приобретут вкус к дальнейшим экспроприациям.

Лоцман Иван Филиппович просит капитана Пётра Петровича не поминать нечистого, после чего они довольно живо обсуждают степень божественного вмешательства в земные дела и варианты противодействия речным разбойникам. Рассматривается возможность ошпарить экспроприаторов паром или пароходом потопить лодку с ними и получить за это награду.

Подошедший зачем-то к капитану боцман вдруг вмешивается в разговор и сообщает им, что у Лбова есть подводная лодка и торпеды. Капитан и лоцман ругают и высмеивают боцмана, но не оставляют его слова без внимания. И после его ухода незаметно для себя начинают обсуждать возможность появления мин и подводной лодки в реке. Штурвальный и другие матросы внимательно слушают их разговор.

Вдруг откуда-то слышится крик. Бледнеющий капитан спрашивает о том, не на нижней ли палубе шум, но кричат с воды. В темноте лодка терпит бедствие на середине реки. Пётр Петрович сомневается и тянет с

решением о помощи, лоцман укрепляет его сомнения своими замечаниями, встревоженные голоса с верхней палубы начинают паниковать: «Капитан, капитан, почему стоим, а?, — Дурно! дурно! Ах, ах! Воды, ради Бога, воды!.. Нападенье? экспроприаторы?.. — Боже мой, Боже мой!.. — Кошельки, кошельки приготовьте!.. — Пристав под стол залез! Уберите из-под стола пристава! — Читайте скорее псалом, псалом читайте!»

Колевашийся до этого момента капитан трусит и «решительно» командует: «Полный ход!» Крики о помощи замирают вдали, а лоцман, вздыхая, замечает: «Сколько греха с этим Лбовым со страху на душу возьмёшь!»..

Как видно, автор, спрятавшийся за псевдонимом *Никто-не*, был настроен критически по отношению к современникам. В своей маленькой пьесе он равно пародировал и народные легенды о Лбове, и сенсационные газетные репортажи, высмеивал невежество «простонародья» и трусость «чистой» публики, в трудную минуту не способной даже на такие поступки, которых требует от неё обычное человеческое сочувствие. При малейшем намёке на угрозу своей жизни персонажи пьесы независимо от классовой и сословной принадлежности неизменно становятся перепуганной толпой, малодушно уповающей на Бога, который спасёт и простит.

На фоне всех этих странниц и купцов, образованных юношей и зрелых девиц, полковников и капитанов, тот о ком они говорят — Лбов, выглядит гораздо ярче, крупнее, веселее. Но его образ, как в народных легендах, так и в газетах имеет inferнальный оттенок — чёрная маска, плащ с красными магическими надписями, обольщение японцами со снятием креста с шеи и т.п. Лбов здесь — герой романтический, решительный, даже благородный, но с неисправимым моральным изъяном, с печатью бесовщины. Никакого подлинного героя, противовеса такому Лбову, автор нам не показал, должно быть, он и не видел подобного в окружавшей его действительности, когда создавал свою маленькую комедию нравов.



Обложка первого выпуска романа П. Орловца



Лбов в Финляндии. Спб., 1908. Обложка



Титульный лист нью-йоркского переиздания романа П. Орловца

Через год после «Экспроприаторов» было опубликовано другое произведение на тему лбовщины — рассказ писателя Б.Никонова «Гражданское мужество», его напечатали в литературном приложении к популярному журналу «Нива». Место действия тоже пароход, но на этот раз уже сама «Анна Степановна». В основу сюжета положен реальный жизненный эпизод, на примере которого обстоятельно и в реалистической манере Б.Никонов сделал срез нравов пассажиров первого класса. Лбова в этом рассказе нет, да и его товарищи появляются только на краткий миг, все ключевые персонажи с другой стороны баррикад — купец, адвокат, немецкий офицер в штатском платье, профессор геологии с дочерью на выданье и горный инженер — её предполагаемый жених. Именно поведение последнего до, во время и после экспроприации и лежит в центре повествования. Рассудительный и красноречивый инженер, говоривший на публике о недостатке у интеллигенции гражданского мужества противостоять волне экспроприаций, позорно струсил, когда ему самому

потребовалось это мужество проявить, но тут же забыл об этом, когда опасность миновала.

Б.Никонов использует эту историю в назидательных целях. Персонажи его рассказа, по сути, не столько герои, сколько воплощения социальных типов — инструмент автора для отражения позиции той или иной социальной группы по отношению к революции. Содержание этого произведения и поведение каждого героя подробно проанализированы в книге В.Семёнова и поэтому в детальном рассмотрении не нуждаются<sup>19</sup>.

«Экспроприаторы» и «Гражданское мужество» — первые тексты о лбовщине, их авторы, так или иначе, ориентированы на художественный анализ окружающей реальности, на вскрытие «язв общества». Они уделяют внимание и композиции, и стилю, претендуют на некоторый художественный уровень. Оба произведения используют метафору парохода, который олицетворяет Россию. Наиболее очевидно это просматривается в пьесе, где нижняя палуба являет собой податные сословия, верхняя — привилегированные, а капитанский мостик —

<sup>18</sup> См. *Никто-не. Экспроприаторы. III. На капитанском мостике // Судоходец. 18 июля 1907 года.*

<sup>19</sup> См. *Семёнов В.Л. Революция и мораль (Лбовщина на Урале). Пермь: изд. Богатырев П. Г., 2003. С. 16-22.*

правительство во главе с нерешительным царём, внимающим не слишком умным советникам.

Важно отметить, что и пьеса, и рассказ были опубликованы в ведущих периодических изданиях. Первая — в «Судоходце», органе волжских судоходных служащих и судовых рабочих, который читали практически все образованные люди из тех, кто имел отношение к речному транспорту на Волге, Каме и их притоках. Издание часто цитировали ведущие газеты крупных городов, перепечатывали оттуда материалы. Второй — в суперпопулярном журнале для семейного чтения «Нива», ориентированном, главным образом, на интеллигентного и буржуазного читателя. Тираж его был огромным и в отдельные годы доходил до 240 000 экземпляров. Это был самый издаваемый журнал Российской империи, который был известен в самых глухих уголках страны. То, что такие авторитетные издания обратились к этой теме, говорит о том, что она была действительно важна в тот момент и привлекала большое внимание публики.

Авторы более крупных произведений о лбовщине, так называемых сенсационных романов, появившихся позднее, о качестве своих текстов особенно не заботились и преследовали уже сугубо коммерческие цели. Они представляли направление, которое впоследствии получило пренебрежительное название «пинкертоновщина». Это была разновидность бульварной литературы, как правило, детективного характера, посвящённая приключениям знаменитых сыщиков: Ната Пинкертона, Шерлока Холмса, Ивана Путилина и др.

Возникшая на основе низких жанров в Америке «пинкертоновщина», быстро завоевав Европу, на рубеже 19–20 веков достигла России. Массовую популярность среди низших и средних городских социальных слоёв, учащейся молодежи она приобрела после первой русской революции. По своим функциям такого рода литература была близка к современным телесериалам. Сначала тексты её произведений выходили выпусками по 5–7 глав в виде брошюр и лишь в

случае успеха переиздавались отдельными книгами. Если издание сочинения становилось невыгодным, оно прекращалось. Обычно один выпуск стоил 5–10 копеек. Тираж таких брошюр нередко достигал 50 000 и более экземпляров.

Динамичное действие, авантурный сюжет и детективная тематика роднили «пинкертоновщину» с сочинениями более раннего периода, так называемыми «разбойничьими» романами рубежа 18–19 веков и современными ей сочинениями о разбойниках, с которыми она образовывала общий поток «низкой» литературы. Однако «пинкертоновщина» была более шаблонна, чем «разбойничьи» романы, изобиловала речевыми штампами, использовала крикливые, сходные с газетными заголовки, стандартные сюжетные ходы, скрытую рекламу.

Этим характеристикам полностью соответствовал издававшийся в Петербурге роман В.Осинского «Атаман Лбов — Гроза Урала», первые выпуски которого достигли Перми летом-осенью 1908 года. Автор уловил интерес читателя к историям о подпольщиках и боевиках, которыми кишела центральная пресса, и вместо отошедших во время революции на задний план обычных уголовников вставил в сюжет эсеров-максималистов и уральских рабочих. Возможно, благодаря этому брошюрки с главами его романа пользовались бешеной популярностью у пермяков. По воспоминаниям одного из читателей, их буквально зачитывали до дыр<sup>20</sup>.

Официальные власти спрос на подобную крамольную литературу совсем не радовал, они изымали её выпуски, запрещали публикацию и критиковали в газетах. Следы такой реакции на книгу петербургского автора имеются в тогдашней периодике. В частности, газета «Пермские губернские ведомости» осенью 1908 года весьма не лестно отзывались об этом произведении: *«Издатели литературного хлама не брезгают никакими способами, лишь бы они дали хороший заработок. В настоящее время появился в продаже роман, конечно, «сенсационный»: «Атаман Лбов, гроза Урала».*

*Насколько успешно идёт продажа этого романа, говорить не приходится, ибо все знают, как расхватывались разные «Шеролоки Холмсы», «Красная маска», «Картуши» и т.п. дребедень. Лбов же раскупается ещё сильнее, потому что он наш земляк. Читая этот «роман», а, вернее, легенды, становится совестно даже за автора»<sup>21</sup>.*

В настоящее время в библиотеках найден только первый выпуск этого романа под названием «Лбов в Финляндии», в него вошло семь небольших глав. Однако из анонса, размещённого в этой брошюре, видно, что всего планировалось сделать десять выпусков. Лбов по замыслу автора, кроме Финляндии, должен был побывать также в Петербурге, Москве и Париже, но главные события, конечно, развивались на Урале, которому предполагалось посвятить пять частей. Последний, десятый выпуск должен был рассказать читателям о казни главного героя. Сколько всего вышло брошюр и была ли книга написана полностью, в настоящее время точно не известно, есть только не слишком надёжные воспоминания.

Роман начинается с эпизода на Финляндском вокзале Петербурга. Дело происходит в двадцатых числах июля 1906 года, когда вспыхивают вооружённые восстания в Кронштадте и Свеаборге. Богато одетые господа, блондин и брюнет, приехавшие в собственном экипаже, размещаются в спальном вагоне поезда, следующего до Гельсингфорса. Какой-то мужчина интересуется их личностями у жандарма, стоящего на перроне. Перед этим человеком полиция вытягивается в струнку и трепещут служащие вокзала, величая его «ваше благородие», он расспрашивает их о двух уважаемых незнакомцах и щедро вознаграждает за сведения. Этот любопытный господин — сыщик Зубов. Он садится в тот же поезд, что и блондин с брюнетом и под

надуманным предлогом заглядывает к ним в купе. Один из двоих узнаёт в нём сотрудника полиции, но вида не подаёт. Вместо Выборга, их подлинной цели, они, чтобы отстать от сыщика, незаметно сходят в Териоках. Высокого брюнета зовут Александр Лбов, блондина — «Демон».

Через некоторое время они добиваются до дачи, где живут революционеры, повидимому, эсеры-максималисты. Тут их никто не ждёт, происходит внезапная, но радостная встреча и представление Лбова новым товарищам. Здесь, у максималистов, Лбов знакомится с «Сибиряком» главным своим сподвижником в предстоящих делах. Через пару дней после приезда в Териоки Лбов и «Демон» едут в Выборг на «Ястребиный слёт» — встречу петербургских экспроприаторов. Там неподалёку от боевиков всё время оказывается глуховатый седенький турист, говорящий на русском с сильным иностранным акцентом. Это Зубов, который благодаря своим феноменальным способностям вычислил, куда могли поехать его подопечные.

В одном из ресторанов Выборга «Демон» знакомит Лбова с молодыми людьми в синих и чёрных рубашках с широкими ремнями — «Уральцем», «Сорокой», «Фомкой», «Громом» и «Ястребом». Сам слёт происходит в уединённом месте в лесу, среди скал, здесь к группе, руководимой «Демоном» и «Ястребом», присоединяется «Сибиряк»<sup>22</sup>. Экспроприаторов беспокоят слухи о введении военно-полевых судов, в связи с этим ими обсуждается необходимость переезда на Урал.

Закончив совещание, экспроприаторы вновь встречают подозрительного иностранца. Для проверки «Гром» говорит с ним по-немецки и сообщает товарищам, что у того чистый нижнерейнский акцент. Этот же турист оказывается с ними и на пароходе в

<sup>20</sup> См. Кудрин А.В. Указ. Соч. С. 113.

<sup>21</sup> О Лбове // Пермские губернские ведомости. 19 сентября 1908 года.

<sup>22</sup> Автор по газетам знаком с реальной историей лбовщины, персонажи его романа носят те же прозвища, что и боевики, приехавшие из Петербурга на Урал ко Лбову.

Выборг. Сыщик рассматривает террористов-экспроприаторов как часть приехавших из Москвы опасных боевиков-максималистов, которые хотят отделиться от организации. Не отставая ни на шаг, он едет с ними в одном поезде в Петербург и планирует арестовать их на первой же станции за пределами Финляндии. И хотя у «Демона» появляются в отношении «немца» серьёзные подозрения, он его не узнаёт и, кажется, что вот-вот наступит развязка. На этом первый выпуск романа, дошедший до нас, заканчивается.

Даже при поверхностном чтении этого памятника «пинкертоновщины», напечатанного в типографии газеты «Дачный курьер», становится очевидным, что он был рассчитан на то, чтобы скрасить досуг публики, снимающей небольшие загородные дома поблизости от столицы, в том числе в Финляндии. Он эксплуатирует вкусы, стереотипы и даже убеждения людей, относящихся к тем социальным слоям, которые могли себе позволить такое удовольствие, изобилует описаниям достопримечательностей, являющимися предположительно формой скрытой туристической рекламы, и упоминаниями товарных марок.

В.Осинский поддерживает в своих читателях стереотипы о жителях Урала и Сибири, как о грубоватых, замкнутых и близких к природе людях: «...они были угрюмы и молчаливы, как природа Урала и Сибири»... — пишет он о Лбове и «Сибиряке» — «...чистая» публика смущала этих двух неуклюжих, суровых людей, этих детей лесов и горных хребтов»<sup>23</sup>. В его глазах жители восточных окраин империи чем-то напоминают туземных персонажей колониальных романов. Автор, подчёркивает это, характеризуя «Сибиряка», как помесь великоросса с сибирским инородцем. К такого же рода стереотипам относится и его уверенность в том, что почти все жители Урала — старообрядцы. Из текста романа можно понять, что и Лбов раскольник.

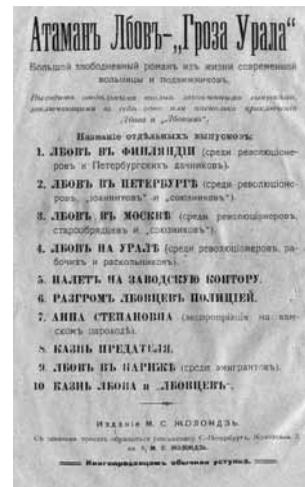
<sup>23</sup> Осинский В. Указ. Соч. С. 20-21.

<sup>24</sup> См. Кудрин А.В. Указ. Соч. С. 113.

Экзотических красок роману добавляются элементы конспиративного быта максималистов: клички, тайные знаки, приёмы борьбы с филёрами, намёки на известные политические события и даже умеренная революционная пропаганда. Например, в уста одной из максималисток В.Осинский вкладывает восторженный отзыв о финляндском сейме, выбранном по новому самому прогрессивному в мире избирательному закону.

Стиль романа, безусловно, коммерческого по своей сути, тем не менее, выдаёт в авторе образованного человека, который легко, рассчитывая на то, что читатель его поймёт, может вставить в текст кусок диалога на немецком языке. Он хорошо, со знанием дела, ориентируется в топонимике приграничных с Россией районов Финляндии, отлично осведомлён о важнейших политических событиях, знаком с религиозной проблематикой, в общем, внимательно следит за конъюнктурой. В первом выпуске, дошедшем до нас, кроме главной революционно-террористической сюжетной линии им намечается и побочная, связанная с раскольниками и «иоаннитами» любовная линия, кроме того, анонс сообщает, что читателю стоит ожидать появления в следующих главах «союзников» (черносотенцев) и парижских политэмигрантов. Остаётся только гадать, как автору удалось бы воплотить в жизнь свои замыслы, поскольку издание романа, судя по воспоминаниям, было прекращено по политическим причинам<sup>24</sup>.

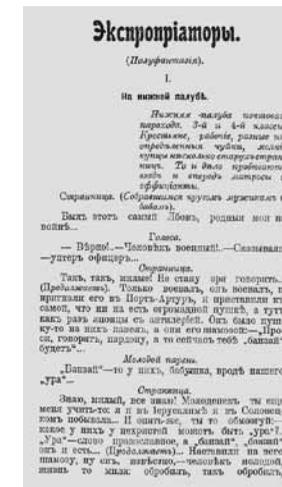
Другой «сенсационный» роман «Лесные братья. «Три героя». Лбов, Савицкий и Азеф», эксплуатирующий интерес читателей к революционно-конспиративной и разбойничьей тематике, начал печататься отдельными выпусками в Москве в 1910 году. Благодаря расчёту издателей он был призван объединить на своих страницах фигуры, которые в жизни непосредственно не



Анонс выпусков романа В.Осинского  
Атаман Лбов — Гроза Урала



Первая страница рассказа  
Б.П.Никонова Гражданское мужество



Судоходец. 6 июня 1907 г.  
№ 118. С.14

соприкасались, но о которых много писали в прессе. Его автором был известный журналист и писатель П.Дудоров, работавший в это время под псевдонимом П.Орловец.

Действие романа начинается на некоем заводе, расположенном недалеко от Нижнего Тагила. Во время банкета по случаю продажи лесных угодий разгоряченные спиртными напитками управляющий и главный инженер в грубой форме безуспешно домогаются расположения двух молодых фельдшерниц, одну из которых зовут Вера Сергеевна Орлова.

Параллельно с этим в каком-то из горных ущелий проходит собрание рабочих из числа раскольников-беглопоповцев. Один из рабочих — Лбов жалуется старцу на произвол властей. В это время там появляются сбжавшие с завода фельдшерницы с просьбой о помощи. Лбов, возмущённый насилием над женщинами, покидает лес и идёт на завод, где во время потасовки случайно убивает управляющего.

Вскоре скрывающийся от правосудия Лбов встречает своего знакомого, который предлагает ему стать разбойником. Чтобы легче было вербовать сторонников, они решают изображать из себя революционную террористическую группу и немедленно приступают к делу.

Неожиданно действие переносится в Петербург, где на сцене появляется Азеф. Это жаждущий денег беспринципный субъект, который задумал зарабатывать на двойной игре с властями и революционерами. Для этого он, поступив на службу в охранку, собирается внедриться в боевую организацию.

Между тем, Вера Орлова страдает от любви ко Лбову. Она решила идти в лагерь разбойников, чтобы убедить его покончить с экспроприациями. Подруга предлагает ей воспользоваться для этого помощью другого недавно появившегося в окрестностях завода главаря экспроприаторов — «Максима».

В тоже время Азеф в одном из ресторанов Петербурга собирает нескольких видных боевиков. Разговор идёт о Лбове. Революционеры, которых Азеф выманил из-за границы, соглашаются ехать с ним на Урал.

Тогда же в Перми появляется сыщик Бредлов, жаждущий поймать Лбова и сделать на этом карьеру. Но его попытка проникнуть в отряд заканчивается неудачей. Лбовцы, разоблачившие полицейского, связывают его и оставляют в лесу.

Лбов поселяет Веру в отдельной избушке. Он обманывает её, говоря, что покончил с разбойничьим ремеслом и, хотя не любит её, признаётся ей в обратном. Они становятся любовниками. В один из дней Вера,

заблудившись в лесу, натывается на связанного сыщика Бредлова и освобождает его. От него она узнаёт, что Лбов её обманывает и продолжает заниматься разбоем.

Вскоре между Лбовым и Верой происходит бурное выяснение отношений. Она говорит ему об освобождении связанного в лесу человека. Лбов сильно раздосадован, он рассказывает ей про Бредлова и решает уничтожить его.

Неудачливый сыщик и местный исправник проводят обыск в одной из деревень, там их находит Лбов. Ночью, подперев двери, он бросает в комнату, где ночуют Бредлов с исправником, бутылку с экзотическим ядом. Только случайность спасает их от смерти.

Вскоре Азеф с членом центрального комитета одной из революционных партий приезжает в отряд Лбова и «Максима». Провокатор излагает им свой план партизанской войны. Он обещает Лбову, что вскоре к нему приедут проверенные боевики из Петербурга. Деньги от акций будут делиться по принципу две третьих Лбову, остальное — комитету. Лбов предлагает ограбить пароход «Анна Степановна», на котором по данным «Максима» везут несколько сотен тысяч рублей.

После успешной экспроприации на пароходе полиция, казаки, солдаты и стража ищут Лбова в окрестностях Перми. Он с товарищами в это время делит деньги в одном из укромных мест. К ним приезжают петербургские боевики во главе с членом центрального комитета и Азефом. Лбов отдаёт провокатору крупную сумму денег и через несколько дней отряд попадает в засаду. Во время кровавой бойни Азеф спасает Лбова, все остальные гибнут. Узнав об этом, Вера сходит с ума. На этом заканчивается первая часть романа.

Во второй части появляются новые герои. Далеко от Урала в Черниговской губернии на помещиков наводит страх шайка Савицкого. Однажды, один из его ближайших товарищей объявляет ему, что в заброшенной лесной избушке его ждут два гостя — Азеф и Лбов.

Азеф излагает Савицкому тот же грандиозный план партизанской войны, о котором он ранее говорил Лбову и предлагает ему вместе с ними ехать в Москву на съезд террористов, которые собираются во всём этом участвовать. Савицкий соглашается.

Бредлов, долго болевший после отравления, узнав о разгроме шайки Лбова, решает поменять место работы и уезжает в Москву. Выполняя служебное задание, он внезапно видит знакомое лицо. Загримировавшись, сыщик проникает в ресторан «Прага», где происходит собрание террористов и экспроприаторов. Под видом лакея он обслуживает стол в кабинете, где сидят революционеры и разбойники. Среди собравшихся он узнаёт Лбова, который разоблачает Бредлова, его связывают и бросают под диван. Террористы исчезают. Азеф — в бешенстве. План, по которому полиция захватит всех выдающихся боевиков в одном месте, провалился. Лбов по согласованию с Азефом уезжает на Урал собирать новый отряд, Савицкий возвращается на Черниговщину, где вскоре гибнет. В его поисках участвует вновь спасшийся Бредлов.

Вернувшись, Лбов создаёт новую ватагу «лесных братьев» и совершает несколько экспроприаций. Но успех недолго сопутствует атаману, очень скоро он вновь попадает в засаду. В неравной борьбе почти все лбовцы погибают, только сам Лбов и преданный ему Почитаев избегают смерти. Двое суток они скрываются в одной из горных пещер, а затем решают идти в Пермь, где на конспиративной квартире получают шифрованное письмо от Азефа.

Лбов приказывает Почитаеву отправиться в Мотовилиху собирать новый отряд, а сам по подложному паспорту останавливается в указанной в письме Азефа гостинице и ждёт встречи с его посланцами. Через некоторое время к нему приезжают два опытных глубоко законспирированных террориста. Они рассказывают Лбову, что присланы для оказания ему помощи в освобождении соратников, сидящих в пермской тюрьме.

Для начала они предлагают снять неподалёку от тюрьмы дом и оттуда вести под-

коп. Затем взорвать в тюрьме несколько бомб для создания паники, освободить заключённых и бежать из города. К делу решено привлечь новую шайку Лбова.

Когда всё готово, в снятом доме, из которого вёлся подкоп, собираются лбовцы. Во время ужина все они напиваются вина со снотворным и мгновенно засыпают. По сигналу террористов, оказавшихся агентами полиции, внутрь врывается отряд стражников. Лбов схвачен и вскоре его казнят.

Сочинение П.Дудорова представляет собой гибрид «пинкертоновщины» и «разбойничьего» романа. Его написание напоминало поточное производство, автор ориентировался на создание ближайшего выпуска, но, возможно, сам не знал, чем и когда закончится эта «мыльная опера». В отличие от книги В.Осинского, данный роман рассчитан на самую непритязательную публику. Текст написан очень небрежно, сюжетные ходы предсказуемы и банальны, язык описаний и диалогов беден, присутствуют частые повторы, встречается много ненужных названий и имён второстепенных героев, которые появляются один раз и в дальнейшем никак не используются автором для решения художественных задач. Впрочем, он и не стремится решить какие-либо задачи, кроме одной — заработать.

Для привлечения внимания читателя им раздувается масштаб описываемых событий: *«Мы охватим нашей сетью весь Урал и грозно подыдем над его хребтом наше красное знамя! Вся восточная Россия содрогнётся перед нами...»* — в одном из эпизодов восклицает Лбов<sup>25</sup>. Подчёркивается значение главных героев: *«Хотя Савицкий и не знал лично Азефа и Лбова, но он много читал и знал про этих двух крупных людей, которых считал неизмеримо выше себя»*<sup>26</sup>.

Стоит отметить, что связь между Лбовым и Азефом представляет особый интерес. Евно Азеф — глава Боевой организации

Партии социалистов-революционеров и одновременно самый ценный агент охраны, известен как величайший провокатор в истории русской революции. Народная молва упорно связывает гибель Лбова с его именем, якобы он приезжал в сентябре 1907 года в Пермь и уговорил атамана перебраться в Вятку, что стало началом конца для вожака «лесных братьев». Однако никаких документов, подтверждающих факт такой встречи, в настоящее время не обнаружено, хотя о косвенной связи через третьих лиц между этими фигурами говорить можно. Вероятно, что здесь имеет место обратная зависимость. То есть, означенная легенда порождена романом П.Дудорова, а не предшествует ему. И всё же автор неслучайно сводит этих трёх героев вместе. Все три фигуры: Лбов, Савицкий и Азеф были объектами самого пристального внимания прессы, соединение их вместе гарантировало успех даже самой бездарной книге. Азеф в этом романе не только главный злодей, он наряду с главным положительным героем сыщиком Бредловым обеспечивает автору связь между двумя совершенно самостоятельными повествованиями о Лбове и Савицком. П.Дудоров ведёт двойную игру с читателем, давая положительному герою такую сомнительную фамилию. Есть мнение, что на самом деле это анаграмма фамилии Лбов, отсылающая, одновременно, к слову «бред». Бредлов в этом случае выступает как карикатурная тень Лбова — истинного положительного героя.

Несмотря на то, что весь роман от начала и до конца выдумка, автор использует большое количество подлинных прозвищ и даже фамилий лбовцев, упоминает места реальных акций «лесных братьев». Он постоянно подчёркивает, что в отряде «царила самая суровая дисциплина», что Лбов требовал от своих разбойников «зря крови не проливать», подробно, но, конечно с большим искажением, освещает известный эпизод

<sup>25</sup> Орловец П. Указ. Соч. С. 21.

<sup>26</sup> Там же. С. 110.

с расстрелом провинившегося лбовца во время экспроприации в селе Хохловском.

Но его описания облика «лесных братьев» уже очень далеки от действительности и заставляют вспомнить различные истории о разбойниках из европейских книг: «Под нависшей скалой, на самом берегу ручья, живописно расположилась группа лбовцев. Одетые в высокие охотничьи сапоги и цветные рубахи, сильные и мрачные, они сидели полукругом на жидкой траве, положив к ногам винтовки»<sup>27</sup>. Это открыто признаёт и сам автор: «Вооружённые ружьями, с револьверами на широких поясах, эти люди как нельзя больше напоминали средневековых бандитов. Сам Лбов, одетый в тёмно-синюю австрийскую куртку и высокие сапоги, стоял тут же и, облокотясь на дуло винтовки, отдавал приказания»<sup>28</sup>. Любопытно так же, что атаман использует в общении со своими соратниками обращение «господа», в то время как Азеф — «товарищи». Фантастичным выглядит и образ жизни «лесных братьев», которые в лесу пьют коньяк, шампанское, водку, едят жареную баранину и другое мясо.

Как и В.Осинский, П.Дудоров использует в произведении популярную тогда среди рабочей и учащейся молодёжи конспиративную романтику. Персонажи его романа имеют прозвища, пишут шифром, устраивают тайные совещания, пользуются гримом и т.д. Все три главных героя, не говоря уже о сыщике Бредлове, часто перевоплощаются. Для удержания внимания читателя используется и проверенная веками любовная линия. Вначале автор даже пытается построить треугольник Лбов, Вера Орлова, «Максим».

Отдельная тема — изображение в романе Урала и его жителей. П.Дудоров транслирует читателям всё те же расхожие стереотипы об уральцах, что и В.Осинский. Он пишет о Лбове, как о раскольнике, но, однажды упомянув «для галочки» об этом факте, тут же о нём забывает. Автор совершенно не представляет себе, как выглядят настоящие Уральские горы, в его описаниях они больше похожи на Альпы: «...в этой

местности горы были ещё достаточно высоки. То покрыты яркой весёлой травой, то угрюмыми серыми скалами, они тянулись бесконечной грядой, уходя на север и юг. Глубокая ущелья и ласковые долины там и сям прорезали их крепкую волнистую грудь, разнообразя местность отличавшуюся и без того необыкновенной красотой. Но насколько весело выглядели вершины гор, покрытые зелёным лесом или высокой сочной травой, — настолько мрачными казались узкая ущелья, сдавленные тяжеловесными гранитными стенами»<sup>29</sup>. Животный мир этого Урала тоже своеобразен, например, там полно диких коз, есть и бараны. Плохо П.Дудоров знаком и с административным делением страны, например, он не подозревает о том, что в Российской империи нет Екатеринбургской губернии, а есть только Пермская и пишет: «Постепенно он охватил своими действиями Екатеринбургскую и Пермскую губернии, и самым неожиданным образом появлялся то там, то сям»<sup>30</sup>.

Вероятно, что из-за подобных недостатков популярность этого романа, в отличие от других сочинений П.Дудорова, оказалась невысокой. Об этом можно судить по тому факту, что его первый выпуск стоил 10 копеек, а второй только 5. Тем не менее, в отличие от сочинения В.Осинского, он вышел целиком и даже был переиздан отдельной книгой.

Стилистика его текста чем-то напоминает титры, сопровождавшие немые фильмы. Видимо, кинематографичность этой истории, возможность перенести её на целлулоид чувствовалась уже тогда. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вскоре после Февральской революции в Ярославле был снят художественный фильм под названием «Разбойник Лбов», оригинал которого, к сожалению, не сохранился.

Как видно из всех рассмотренных произведений, резко негативного отношения ко Лбову, к «лесным братьям» в то время в обществе не было, напротив, они были популярны и на их популярности пытались заработать уличные театры, кинематографисты, издатели газет, журналов и бульвар-

ной литературы. А что же властители дум, художники слова? Известно, что о Лбове хотел написать Д.Мамин-Сибиряк, но так этого и не сделал. «Высокая» русская литература, после А.Пушкина не обращавшаяся к историям о «добром разбойнике», оказалась к этим типажам безразличной. Экспроприаторы не стали героями своего времени в жизни, не стали они ими и в литературе, оставшись на обочине и там, и там. Для газетчиков они были то строчками уголовных хроник, то фольклорными персонажами, для уважаемых авторов — банальными бандитами, для бульварных писателей — романтиками революционного подполья или шайками опасных террористов и ловких разбойников.

Незаконченность этой истории, неудовлетворённость тем, как она рассказа-

на, и заставила обратиться к ней вновь уже в советское время. Кто знает, слышал ли что-нибудь А.Гайдар о книгах П.Дудорова и В.Осинского, случилось ли ему просматривать старые подшивки «Судогодца» и «Нивы», видел ли он в юности фильм о Лбове? Судить об этом сложно. Общее влияние «пинкертоновщины», конспиративной романтики, безусловно, ощущается в его повести, но всё-таки это уже совсем другая литература. Известно, что сам писатель не был удовлетворён своей работой, тема не отпускала его, и он хотел сделать на основе дилогии о «лесных братьях», включавшей кроме «Лбовщины» также повесть об отряде братьев Давыдовых, новую книгу. Но судьба распорядилась иначе, роман так и не был написан. Лбовщина, обросшая мифами и легендами, всё ещё ждёт своего автора.

<sup>27</sup> Орловец П. Указ. С. 29.

<sup>28</sup> Там же. С. 34.

<sup>29</sup> Там же. С. 6-7.

<sup>30</sup> Там же. С. 45.

## В чем сила, брат?

«Поэтический путеводитель по городам «Культурного альянса» [+CD]  
/ Сост.: В. Курицын, А. Родионов. — Пермь: «Культурный альянс», 2012



«Поэтический путеводитель» — политехнологический продукт оборвавшейся связи Марата Гельмана и партии «Единая Россия». «Культурный альянс» придуман в 2010 году директором Пермского музея современного искусства Маратом Гельманом и был, процитируем, «направлен на создание качественного и разнообразного культурного досуга вне столиц, повышение качества городской среды, создание позитивного международного имиджа государства, а главное — развитие творческого потенциала населения».

Однако проект быстро сдулся. В 2011 году «Единая Россия» разорвала отношения с Гельманом. Зато в

прошлом году «Культурный альянс» поддержал краевую минкульт. На фестивале «Белые ночи в Перми» прошел «StartArt. Культурный альянс» — ShowCase творческих инициатив из разных городов России в разных направлениях творчества современного искусства. На литературном направлении и был презентован «Путеводитель», составленный писателем и критиком Вячеславом Курицыным и поэтом Андреем Родионовым.

В книге 440 страниц и 78 авторов, представивших свои стихи и эссе. Авторы разделены по географическому принципу: Екатеринбург, Ижевск, Казань, Киров, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тверь, Тольятти, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск, Челябинск и Якутск. Расширить представление читателей о поэзии, формах ее бытования, возможности преломления поэтического текста в видеоформат призвано приложение к сборнику — диск с поэтическими видеоклипами фестиваля «Пятая нога».

Стоит отметить неординарность и цветовую насыщенность сборника, оформлением которого занимался участник арт-группы «Синие носы» Александр Шабуров. Художник создал неформальные гербы с символами, ассоциирующимися с каждым из городов. Например, Пермь — это деревянная скульптура, звериный стиль, доктор Живаго, соль, чеховские три сестры, пермяк соленые уши, Кама и музей совриска PERMM, который олицетворяют в неформальном гербе «Красные человечки». Таким образом, уже на визуальном уровне «Путеводитель» был призван подружить старое и новое, то есть являлся продолжением идеи «Культурного альянса».

Возникает вопрос, почему же составители дали название своему труду «путеводитель», а не «антология», характеристикам которой он вполне соответствует? Ответ находим в предисловии составителей к изданию: «Пространство и вещи не мертвы, тонкие токи сочатся между нами и миром, у пейзажа есть душа, сплетенная из колебаний душ чутких людей и еще из какого-то сока,

тайну которого не раскрыть в земной жизни». Именно по таким пейзажам — «местам силы», которых в России много, как утверждают Вячеслав Курицын и Андрей Родионов, они и предлагают пройти. И кто как не поэты, те самые «чуткие души», могут указать нам путь.

За Пермь в «Путеводителе» отвечают 7 авторов. Антон Бахарев-Черненко, пустившийся в путь по Компросу в поиске центра энергетической силы Перми, Катерина Гашева прогуливающаяся по саду камней и набережной «с ее цепью заводов, растянувшихся вдоль реки», Вячеслав Дрожжих, называющий «местом силы» старую подземку, «в которой творится непонятная жизнь» и Иван Козлов с мостом между кладбищем и заводом, «хранящим особую, насыщенную пустоту, которая гудит». А вот для Дарьи Тамировой такого места в Перми не нашлось, есть только место слабости — микрорайон Молодежный, «где оставлены, как положено, лучшие годы, нервы, сны и желания».

Два других участника пермской подборки вызывают вопросы. Назвать Андрея Родионова «пермским поэтом» можно с большой натяжкой. Он прожил в Перми неполные два года, за это время ни тематика, ни поэтика его стихов не изменились. Вячеслав Хахалкин, больше известный как рэпер Сява, называющий — кто бы мог подумать! — как какой-нибудь поэт-почвенник

из Союза писателей местом силы Перми «деревянный Разгуляй» — привет из постмодернистского прошлого Вячеслава Курицына. Сява с единственным текстом из клипа «Родина», где вместе с ним «зажигал» Марат Гельман, очевидно, попал в «Путеводитель», чтобы вызвать раздражение у снобов. Но кроме неловкости его соседство с поэтами ничего не вызывает. Кстати, подобный прием Курицын уже применял, составляя антологию «Стихи в Петербурге. 21 век», куда не попал петербуржец Александр Кушнер, зато вошли тексты рок-музыканта Бориса Гребенщикова.

Идея с «местами силы» задает вектор прочтения, служит смыслообразующим элементом книги. Правила игры — эссе и стихи — как заданные параметры уравнения приглашают с интерактиву, сотворчеству. Читатель, как детектив, ищет зазор между продекларированным «местом сил» и наличествующим стихотворением: а что по факту? а может задача (эссе) с ответом (стихами) не сходится? «То держит смерть, то торопит жизнь» (Антон Бахарев-Черненко); «Еще шел обстрел, я геройствовал как умел» (Катерина Гашева); «От бойцовских поту кровь стреляет, шалея, из подвалов их кличет, облыжно-святых» (Вячеслав Дрожжих); «Если в круге девятом, как известно, грешники заморожены, / То в десятом старуха, на дачу стремясь, сажает их в свой

рюкзак» (Иван Козлов); «нет, не аэробус ты, ты истребитель», «наверное, проклятый поэт не спал / он тут же встал в кровавой дымке / и из стенного шкафа трех зеркал / нам трем он посмотрел в затылки» (Андрей Родионов); «Дальше мы будем старше, потом умрем» (Дарья Тамирова); «Я вырос в обычном девятиэтажном доме, таких, как у меня, домов, в каждом районе» (Вячеслав Хахалкин).

Поэтический путеводитель по Перми мрачен. Но, судя по «Путеводителю», эта мрачность — черта не только пермской, но и всей современной отечественной поэзии. Так, екатеринбургские авторы пишут о «почти заброшенной больнице в центре города, подвергающей энергетической ремиссии симптоматичнее, чем пафосный храм на месте расстрела царской семьи» (Александр Вавилов), или о «недостроенной телебашни, проникающей прямо в небо и насчитывающей более 40 человек, души которых так и кружат здесь» (Сергей Ивкин).

Вполне обусловлены историей города темные «места силы» петербуржцев. Дмитрий Григорьев пишет о Васильевском острове, где можно услышать голос свалки, «которая расскажет тебе о сокровищах, скрытых под мусорными завалами». Сергей Носов — о Сенной площади, в середине которой «Раскольников в порыве покаяния целовал «грязную землю». Наталья Романо-

ва — о магазине с говорящим названием «Груз-200», в котором она «пару раз встречала людей, которые давно умерли».

В одном ряду с ними Галина Ермошина (Самара), которая рассказывает о заброшенном санатории на Красной Глинке, где нет теней, «и никто не подскажет, когда со следующей ступеньки шагнешь в пустоту». Артур Матвеев (Красноярск) — об обрыве в Академгородке, где «обитают жители «нижнего мира». Виктория Иванів (Новосибирск) — о Заельцовском кладбище, которое, «как лес, открывается всегда с новой стороны». Анастасия Запрометова (Тверь) — о старой пристани с «почерневшими торчащими из воды остовами деревянной набережной», заросшей деревьями, забытой коммунальными службами. Варвара Торская (Тюмень) — об окнах дворца бракосочетаний, которые выходят на кладбище. Варвара Малыгина (Уфа) — об обрыве, простирающемся ночью, как «черная бездна, резко граничащая с морем

огней микрорайона». Вера Котелевская (Ростов-на-Дону) — об университетской библиотеке, точнее с ее видом сзади, который «осыпается, даже огорожен проволокой и, со своими желтоватыми колоннами и маскаронами, сохранил дух старины», но все же излюбленное место студентов и особенно филологов...

Авторов, для которых энергетической подпиткой служат места силы хтонической, неоднозначной, темной, можно перечислять очень долго. Так что же? Может все мы не такие и разные, хоть и разделены десятками, сотнями, а то и тысячами километров? Ведь, несмотря на все границы, разделяющие российские города, «местами силы» для многих авторов становятся похожие места, в которых они черпают энергию и вдохновение. Места, где остановилось время, соединившее в себе прошлое и настоящее.

Стоит отметить, что «Поэтический путеводитель» — это еще и отличный практикум по геоэпике, науке, изучающей взаимообуслов-

ленность специфики географических особенностей территории с определенной семантикой этого места, укореняющейся в культуре. Пермь — один из центров, развивающих это направление, благодаря Владимиру Абашеву, который ввел в научный оборот понятие локального текста. Исследования ученых показывают, что пространство формирует мышление и продуцирует свои смыслы, которые поэты, как медиаторы транслируют через тексты. Потому познание пространства — есть познание себя. Поэты пишут свой город как текст, пытаются разобраться в нем, вписаться в него, быть может, оттолкнуться от него, или сделать его своим. Потому задумка составителей «Поэтического путеводителя» представляется весьма актуальной и своевременной: она дает авторам, а заодно и читателям уникальную возможность: распознать себя через свое пространство, через «место силы» или «место слабости».

Алена Лузина

## В смысле любви

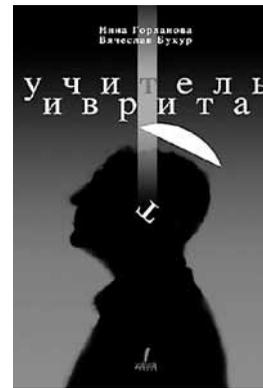
Нина Горланова, Вячеслав Букур. *Учитель иврита. Три повести.* — Za-za Verlag (Düsseldorf, Deutschland), 2012

Три истории, взятые из жизни, собраны в книге Нины Горлановой и Вячеслава Букура «Учитель иврита.

Три повести». Повести как люди: объединенные общим смыслом, живут сами по себе. Так живут «Лидия и

другие», «Учитель иврита» и «Сторожевые записки».

Глядя на обложку книги, вроде бы ясно: повести



объединяет еврейская тема. Но ее рисунок посылает читателю сигнал: выпавшая из слова «иврит» буква «т», перевернувшись, предлагает не спешить к точности определений национально-го колорита. В этой книге их нет. Собранная в ней проза, если брать широко, — о последствиях космополитизма и борьбы с ним. О наследстве, доставшемся Перми от советских времен: в определении героя повести «Учитель иврита» — это даже не идея отказа от национальной культуры, это «сладкое темное очарование души». Так что же объединяет три текста, помимо обложки и общего городского пейзажа?

Повести «Учитель иврита» и «Сторожевые записки» — своего рода дневник в двух частях. Его ведет молдаванин Михаил Штырбу, наблюдающий за жизнью, в том числе за своей собственной, из двух — поочередно — профессий: сначала — учителя иврита, потом — сторожа синагоги (обе были даны Вячеславу Букуру в реальности).

С обеими профессиями Штырбу намеренно не совпадает, так как просто не может совпасть. Человек всегда — больше мира и тех обстоятельств, которые ему предлагает судьба. Это знание — главная идея прозы Нины Горлановой и Вячеслава Букура, их узнаваемый художественный прием.

Читатель с первых страниц видит Штырбу филологом и писателем, а уже потом — учителем иврита и мужем темпераментной журналистки Нинико, унаследовавшей свой темперамент от мамы грузинских кровей. «Сердце умного в доме печали, сердце глупого в доме смеха. И вообще, что есть мир сей? Тень тени...» — размышляет герой «Учителя иврита», подводя читателя к дому смеха — своему дому, где сам Миня Штырбу, глава многодетного семейства, лежит на диване с Фрейдом в руках. В квартире летают реплики полуночных гостей, благодарных учеников — евреев Крапивского и Самойленко. «Пушкин в этом полулифчике выглядит ужасно! — категорично заявил Самойленко и снял с маски Пушкина атласную ермолку, белейшую, ее мне на курсах в Москве подарили израильтяне».

Умный Лев Аронич Шахецкий, один из героев повести «Лидия и другие», так рассуждает о красивом грибе, выросшем на дереве: «Люди думают, что дерево с брошью — это красиво, но красота не гарантирует от-

сутствие проблем». Несамостоятельная красота гриба, разрушающего то, что дает ему жизнь, — метафора данности, противоречивого единства всего живого. И она же — украшение всякого детства.

В эпиграфе к повести «Лидия и другие», в словах Мераба Мамардашвили, открыт ее главный смысл: «Мы живы в такой степени, в какой оживляем других». Сюжет возникает из прошлого и длится от ощущения любви: прерывающейся, неразделенной, случайной, не случившейся, умирающей, вечной. Всё самое важное, включая конец истории о Лидии Шахецкой, определено в начале: девочку из половинок (мама русская, папа — еврей) поезд везет из любимого Киева в незнакомую Пермь. Вся ее будущая жизнь — это вживание в холодный город, неразделимость с ним. «Детством», первой главой, открыта тема пути, вынужденного исхода: «Они привезли с собой одежду, обувь и посуду, книги и лекарства. Но была одна вещь, которую они не могли взять с собой — сам Киев». История Лидии начинается с понимания: в жизни всегда присутствует «до и после». Трещина в «сладости детской», её первый разлом, — это тоска по городу, который остался в прошлом из-за бессмысленной ненависти большинства к меньшинству: «...По дороге из Киева в Пермь она мечтала о волшебной палочке — что-

бы папу из еврея сделать украинцем или русским, тогда бы их не обозвали космополитами и не выгнали бы с Украины! Почему-то так и представлялось, что на палочке крупно написано: «волшебная»».

В учениках героя «Учителя иврита» ходят: «индейский еврей», если верить его пермскому паспорту, водитель такси Яков, желающий разбогатеть в Израиле на продаже горы пермских опилок, бесхозно возвышающейся у завода «Красный краснодеревщик», и его прекрасная жена Маша — Мирьям. Персонажи оживают в легкой степени гротеска: диалоги из учебника «Легкий иврит для вас» перемешаны с житейским юмором евреев и неевреев, даже и не думающих шутить, но получается так. Семантика постсоветского абсурда держится в повести на Михаиле Штырбу. Нет, он не источник абсурда, он тот, вокруг кого этот абсурд закипает (таким, во всяком случае, видит себя сам герой): молдаванин, знающий иврит, учит евреев их языку, изящно совпадая, противоположности сходятся, с грузинским темпераментом жены Нинико, которой нужно как-то объяснить потерю десятки, истраченной на такси. Завершая свой урок, бывший завлит, а теперь учитель иврита, обдумывает внезапное совпадение: «Завлит на иврите — навозный жук. А у нас — заведующий литературной частью. Но за много

тысяч лет до моего рождения мудрые евреи уже знали, как на меня повлиять. И верно рассчитали: только я дошел до навозного, уволился с этой работы. Очень уж точно, очень уж подходит к завлиту это — навозный жук...».

В прозе Нины Горлановой и Вячеслава Букура печаль жизни и ее смех уравновешены энергией языка. В «Лидии и других» печаль лишена пьедестала, вместо него в тексте легко прижилась ирония и опорный подтекст: человека ведут потери, в расставаниях он обретает свободу видеть картину в целом, где частности обретают общий смысл, а разрыв не прекращает движения души. Тепло человеческих отношений дается героине не только взамен роскоши южной природы Киева, оно делает ее саму неким теплым смыслом суровой пермской жизни: «Лидия быстро поняла, что для восполнения тепла в мире нужно всю себя бросать в окружающее пространство» — «она копала во все стороны сразу: и повесть писала (про киевское детство), и рецензии на спектакли и книги, и научные литературоведческие статьи, и сугубо педагогические разработки, методические советы. Она копала во все стороны, еще и в небо, вверх, и круг ее интересов все расширялся». Именно этим упорным копанием в небо она заслужила притяжение к себе: в ее дом идут когда плохо и когда хорошо, за деньгами и за сочувствием, за разговорами

о литературе и просто затем, «чтобы не бояться», чтобы «вино лилось, как время, как вино. И разница божественно терялась».

Пермь — «Учителя иврита» и «Сторожевых записок» — это город знакомых, где все друг друга знают. Поэтому Михаилу Штырбу тяжело ходить по улицам. Его хитрость — в нанесении себе травмы: он стукнул сам себя ногой, чтобы жена не корила за отсутствие десятки, потраченной на внезапное такси, быстро раскрыта дворничихой — знакомой Нинико: «Эти языки сводят ведь с ума... он-то стоит-стоит, да ка-ак размахнется ножицей! И по себе стукнул. Я думаю: не то что-то уже. Он от меня юзом-юзом. До-преподается ведь...» Мир кажется учителю иврита сверхплотным. Обособиться от него никогда не удастся, и с этим надо смириться. Как приходится мириться с отсутствием денег и с запахом шарлотки — «шарлотка всегда появляется в доме, когда совсем нет денег», и с внезапным появлением в час ночи благодарных евреев с тушенкой и водкой. А также с нескончаемым присутствием в жизни его семьи одинокого Юрки Плаксина и с тем, что гости выпивают и кричат. «Я люблю евреев, — сказал я властно. — Но не в три часа ночи». Евреи уходят, но остается алкоголик Плаксин, съедает всю шарлотку и засыпает на кухне в луже мочи. За унижительной картиной немедлен-

но следует уточнение: этот человек, сообщает учитель иврита, говорит на восьми языках. Это знание о Плаксине мешает его презирать.

Пермская судьба Лидии начинается от разрыва с Киевом, городом детства. Им же, разрывом, она продолжается. В жизни Лидии много чужих и своих крушений, сгущенных во времени. Болезнь и смерть сына, блаженного Алексея (человека Божьего, не от мира сего), «заклинавшего смерть и холод», для которого «все слова были <...> с большой буквы и имели свойство все удерживать», совпадают с романом мужа, закрученным во Франции с девочкой из детства — парижской гувернанткой Наташей Пермяковой (поехал «читать гидродинамику в Париже»). Но всё разбитое

в прозе Нины Горлановой и Вячеслава Букура не имеет окончательной силы, не бывает последней точкой: ведь «Достоевский говорил, что для счастья нужно столько же несчастья». Смертью Алексея склеивается разбитое: измена мужа и предательство друзей мельчают, не выдерживая сравнения с истинным смыслом настоящей потери (он — в любви, оставшейся от земной жизни сына). И наступает эпилог: герои повести собираются в доме Лидии, признавая в ней ту силу, которая «соединяет мир вокруг себя».

Ученик Михаила Штырбу — таксист Яков так и не уехал в Израиль. Он открыл в Перми магазин обуви. Он готов и дальше быть персонажем интернационального пространства, в котором шумная Нинико совпадает

с «бродячим образом» умной и сердечной женщины, ошалевшей от бытовых неурядиц. В «Сторожевых записках» — тот же учитель иврита, но уже чуть замедливший бег. Сутки через двое он теперь сторожит синагогу. Тот же Плаксин, вдруг засевавший за роман, где герой — Мышкодоев. Изводя Миню и Нинико чтением фрагментов своей рукописи, Плаксин замечает: «Меня самого звали «мордовский еврей» за то, что приехал из Мордовии! Но опять ты, Миша, не на своем месте...»

— А каждый не на своем месте. Человек ведь шире мира, поэтому он не может встроиться! Не мир спасется, а человек, который любовью больше мира, — отвечает Плаксину Нинико.

Мария Мишуrowsкая

## «САД И ЛЕД АД И ЙОД»

Сергей Ивкин. Йод. — Екатеринбург-Нью-Йорк: Издательство «Евдокия», 2012



Йод — это что-то темное, не отмывается долго и очень больно щиплет. А ассоциации и воспоминания из детства нас никогда, должна заметить, не обманывают: книга Ивкина, в отличие от предыдущих («Пересечение собачьего парка», 2007 и «Конец оценок», 2008), — черна, очень щиплет и об очень мрачном месте. Это не что иное, как хроники постапокалиптического мира,

когда Страшный суд не наступил, но все уже явно плохо, эсхатологический и психоделический фильм ужасов:

Нет ни боли живущим,  
ни радости нет.  
Пластик, кафель и камень  
истачивал свет.  
(«Разрушенная больница скорой помощи в Зеленой роще города Екатеринбурга»)

все что запомнил пишу  
на отдельном листе  
раз) во дворе заскрипевшая  
карусель  
два) магазины забытые  
собачьей едой  
три) на дороге  
раздавленный рядовой  
номер четырнадцать двести  
семнадцать сто пять  
вымерз от гайморовых  
до пят  
(из цикла «Шесть  
стихотворений»)

Солнечный свет в этом книжном и бескнижном мире не прорывается сквозь облака. А если прорывается, то это не свет, а только — воспоминание о нем, точнее же — просто глюк: «Опоздала душа моя проспала / И теперь по воздуху всей стопой / Золотые Господи колокола / На корнях сплетенных над головой» («По камням светящимся впереди»). Это галлюцинация света — совершенное отражение тьмы впереди, тот зеркальный лабиринт, в котором теряется понимание добра и зла, страха и бесстрашия, прошлого и будущего, времени и безвременья: «а впереди по-прежнему темно / а нам не страшно ибо знаем чьи мы / всё получилось как бы так само / и даже черенки кровоточивы» («Ответ чибису»).

Иллюзия повседневности оборачивается кошмаром: «Помню вырывал топор у брата. / Прокрутите этот файл обратно. / Доброе разбитое лицо. / Плеер бытовой воспроизводит / запись

на сетчатке, что-то вроде / старых фотографий со свинцом» («Черное зеркало»).

В этом месте «озеро» — это не вода, но ртуть, «Ангел» — не белый вестник, но сторожевой у выхода из ада: «мы валуны одной величины / выкладываем в дёрне облуженном / Архангелы, непрочные Чины / медлительна походка заключённых...» («мы валуны одной величины»).

Неизменно оборачивается потусторонним если не ужасом, то подавленностью перед темным величием непознаваемого: «Ангелы похожи на рыб, / плывущих сквозь безвоздушный густой / чёрный кисель космоса косяком. / На стеллеровых коров, не замечающих мёртвых. / Мёртвые слишком малы для них, / что пыльца» («Явная доктрина»).

«Йод» — это совершенный стимпанк, поджанр фантастики, в котором моделируется мир, освоивший в совершенстве технологию паровых машин. Ржавые гигантские колеса, белесый снег, похожий на пепел (явная отсылка к «Сайлент Хилл»), нежность, придавленная уродливыми железными остовами чувств и событий, безрадостность легкости (а значит, легкость, становящаяся неумолимо тяжестью) и —

Это алхимия времени  
не по рецепту:  
плавим свинец, ковыряя  
на части патроны.  
Мы говорим — и над нами  
летают вороны.

Только Филонов стоит  
одинок  
по центру.

(«Это Филонов, и ты  
понимаешь, о чем я»)

Эта смерть мира похожа на любовь, похожую на смерть мира, неожиданный привкус листа щавеля, дикий и потому логичный, на окислившемся металле: «температура по Цельсию выше нуля / то что за окнами это теперь не Земля // не пригодятся салазки миники бегунки / я разрезал ладонь о твои позвонки» (из цикла «Шесть стихотворений»).

Это не столько «любовь-любовь», сколько «любовь-прощание» (почти прощение), именно та, которая не столько осознается, сколько познается на грани между реальностью и бессознательным: «слушают птицы мои откровенности / мой поминальный дымок / чистая нежность без примеси ревности / сахарный в горле комок» («Прощание»).

Сами чувства в мире «йода и боли» — не столько чувства, сколько просто слова, потому что чувствами становится пейзаж текстов, остающийся за словами, как лицо за стеклом, непрерывно проговаривающее СТРАХ И СОН: «Страх приходил и говорил мне Беги / Я отвечал (не отворачиваясь) Изыди / Страх пришил мне 34 ноги / в виде детей и кредитов (оплачено) в виде / тех любимых любимых которым усту- / паешь (Да ладно) Они это выбрали сами. / Страх

передвинул к постели (расправленной) стул / и (словно доктор) ладонью провёл над глазами» («Кассандра»).

Иногда отсутствие страха — это и есть сам страх, потеря самого себя внутри

себя же самого: «Я не ведал других (отворотных? червонных?) болот. / Подстаканник не слышит, когда растворяется сахар. / Невесомое тело в ладонях одежды ревет, / избавляясь от страха.

(«Смотрит ампула плоти в январские рёбра моста»).

Я не знаю, смогла ли бы я выжить в этом аду, но я знаю — его нужно увидеть.

Екатерина Симонова

## Зона и территория

Топография террора. Пермь: история политических репрессий / Сост. С. Шевырин — СПб.: Издательство «Маматов», 2012



Сборник «Топография террора» посвящен одному из болезненных вопросов как в истории страны, так и в истории города — политическим репрессиям в годы становления и укрепления советской власти. К сожалению, в современной России официальная позиция государства не принимает, а порой и отвергает тяжелые страницы отечественной истории, связанной с ГУЛА-

Гом. Многие тысячи семей до сих пор находятся в неведении, что стало с их родственниками в тяжелые годы большого террора. До сих пор немногие представляют все масштабы античеловеческих преступлений, совершенных в период правления Сталина. Большой пласт исторических документов до сих пор находится в архивах под грифом «секретно», и мы, вероятно, еще долго по кусочкам будем восстанавливать наше прошлое. Решение обозначенных проблем частично берет на себя небольшая группа единомышленников, и вышедшая книга тому подтверждение.

Название книги — «Топография террора» — отсылает к одноименному немецкому проекту. В 1987 году в полуразрушенных подвалах гестапо открыли выставку посвященную преступле-

ниям нацистов. Затем был создан центр, изучающий историю территории, когда-то занимаемой гестапо, различными организационными подразделениями СС, а так же исследование государственной системы насилия во время нацистского режима. Задача центра — акцентирование внимания на негативной истории немецкого прошлого, чтобы проработать ошибки и не допустить их появления в будущем<sup>1</sup>. В России подобным просветительским проектом с 2008 года занимается «Мемориал», который также выявляет и публикует сведения о сохранившихся в регионах России объектах, связанных с репрессиями<sup>2</sup>. В 2011 году одновременно в шести городах были выпущены подобные сборники, пермский путеводитель — седьмой в серии.

<sup>1</sup> Информационно-выставочный центр «Топография террора» (Берлин) // <http://www.urokiistorii.ru/memory/place/2010/16/topografiya-terrora>

<sup>2</sup> Топография террора // <http://www.memo.ru/d/3352.html>

Представленная работа состоит из вводного слова автора и четырех частей. Первая глава посвящена истории зданий, где располагались судебные и карательные органы и связанные с их деятельностью объекты (1917-1921); вторая — местам заключения лагерных конструкторских бюро; последняя — Егошихинскому кладбищу, мемориалу жертвам репрессий.

В кратком предисловии к книге составитель описывает географическое местоположение региона и раскрывает этимологические корни слова Пермь (пермаа — «далекая земля» с.3). Региону, находящемуся на периферии «большой и актуальной» российской истории, через эту относительно модную тенденцию исторической репрезентации объясняют создание здесь мест ссылок. Особенно заметным для Перми в историческом плане являются ссылки политических деятелей и деятелей культуры, например, Герцена, Манделштама и другим. Одна из важнейших в становлении истории политических репрессий региона — ссылка членов семьи Романовых. Начало «эры» политических репрессий на Пермской земле открыл в 1601 году «первый политссылный в нашем крае» Михаил Романов (С. 3). Здесь же в 1918 году трагически оборвалась жизнь великого князя Михаила Александровича. К со-

жалению, высокий уровень централизации российской истории обходит стороной периферийные регионы, и им приходится включаться в нее за счет представленных выше событий. Несмотря на это, пермские исследователи нашли свою нишу в истории края, достаточно трагическую и нуждающуюся в постоянной культурно-исторической проработке, и ниша эта — политические репрессии.

Книга, написанная С.Шевыриным, представляет собой путеводитель, снабженный богатейшим документальным материалом, что придает ей и академическую ценность. Включенные документы особенно важны, потому что неподготовленный читатель не готов к голословному изменению нормы артикуляции памяти и неохотно воспринимает окружающую его данность в новом, негативном и рефлексивном ключе.

В путеводителе автор не просто рассказывает о выбранных зданиях: времени их построения и истории существования, архитекторах, дореволюционном и советском функционировании, он вписывает каждое из них в контекст городских и общероссийских трагических событий. Точнее, Шевырин знакомит с каждым зданием через деятельность его обитателей: председателей пермского ЧК и начальников пермского ОГПУ, религиозных деятелей и заключенных и т.д. Каждый из

этих героев является проводником в прошлое, открывающееся читателю через сохранные и вновь ожившие в книге документы (см. в частности главы: «ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинский», «Костел римско-католический Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии»). Так, например, одно из первых дел, заведенных на поляков по подозрению создания ими «шпионско-диверсионной организации». О фабрикации дела рассказывали в 1939 году бывшие следователи НКВД: «...в августе 1937г. была арестована группа поляков в 25-30 человек, в том числе были арестованы и обрусевшие поляки, польские перебежчики и даже белорусы. Былкин... дал установку арестованным допрашивать меньше, а написать им протоколы допросов и подписать их. Тогда же арестованных уже выдерживали на конвейере (непрерывный допрос) по 4-5 суток. Протоколы были написаны с таким содержанием и с такой контрреволюционной насыщенностью, что арестованные не только не проводили этой контрреволюционной деятельности, но никогда во сне этого не видели» (С. 107-108, курсив автора).

Чтобы создать подобные описания, автор использует богатейший материал из нескольких десятков различных фондов Пермского государственного архива

новейшей истории, Государственного архива Пермского края, Государственного архива Российской Федерации. Так же привлекаются материалы из частного архива Александра Яковлева и аудиокolleкции Мемориального центра политических репрессий «Пермь-36». Проведенная работа, в свою очередь, открывает потенциал для исследований, основанных на местном материале, например, по истории повседневности различных групп людей, связанных с этим трагическим периодом истории.

Рассказывая о том или ином здании, Шевырин также вписывает его в общероссийскую институциональную систему карательных органов и переходит на более сложные темы межинституционального взаимодействия и процессуальных вопросов изучаемой области (см. в частности главы: «Здания, где размещались партийные и советские органы», «ГПУ/ОГПУ 1921-1936гг»).

Как известно, власть стремилась продемонстрировать экономические успехи, чему неуклонно приходилось подчиняться и руководителям «великих» строек и простым строителям. Вспомним лозунг тех лет: «Лучше стоять за высокие темпы роста, чем сидеть за низкие». Желая уложиться в темпы социалистического строительства, управляющие стройками использовали огромный

фонд принудительно собранной рабочей силы. Так, например, можно узнать интересные подробности о постройке КамГЭС. Гидроэлектростанция должна была быть построена к концу четвертой пятилетки (1946-1950 гг.). Строившее ее Министерство электростанций не имело на это людских и материальных ресурсов. «Создалась прямая угроза срыва выполнения работ в установленный срок. Единственным выходом из создавшегося положения может быть лишь привлечение на стройку такой мощной организации как Широковстрой МВД, которая имеет более 10.000 рабочих...» (с. 138-139).

Особым богатством сборника являются богатые визуальные материалы: фотографии и карты, благодаря которым картина ушедших событий становится более наглядной. Так, например, представлена фотография созданной в последней трети XIX века пересыльной тюрьмы (с. 163), которая в годы советской власти была и исправдомом, и тюрьмой НКВД, и промколонией. В итоге здание было перестроено и передано, как бы это парадоксально ни звучало, Пермскому театру кукол (с. 170). В книге автором представлено много подобных историй пермских зданий, камни которых хранят память о репрессиях.

Дополняется визуальное представление об ушедшей

эпохе и фотокарточками карателей и жертв, оказавшихся по разные стороны советской социалистической справедливости. Это общие и индивидуальные фотографии членов карательных организаций, фотографии из следственных дел некогда обвиненных людей.

Топографию террора автор дополняет не менее ценным материалом в виде исторических карт города Пермь (Молотов). Сравнивая их, можно почерпнуть информацию об изменении названий улиц города, о том, как происходил процесс изменения общей топографии и районирования города. В том числе можно найти едва заметные и сливающиеся с поблекшим цветом карт меты изучаемых автором мест памяти.

Вместе с этим в книге есть и некоторые огрехи. Так, например, название главы «Здания, где размещались партийные и советские органы» (с.138) не соответствует содержанию. Безусловно, читатель может узнать о том, как происходило становление советской власти в городе и на местах, системы принудительного труда, а также людях, которые занимались этими вопросами. Но в тексте ни разу не упоминается о том, где располагались те или иные институты власти. В продолжение темы заголовков: не совсем понятно, почему в названии первой главы автор берет временной промежуток 1917-1921 гг., тог-

да как в тексте охватывает более длительный период (вплоть до 1991 года).

К недочетам можно отнести неравномерность распределения информации. Так, в текст включена глава о театре оперы и балета. Автор, собравший богатейший материал по заданной теме, лишь в скупом комментарии к портрету Екатерины Николаевны Гейденрейх упоминает, что

она была осуждена на 10 лет лагерей. Тогда как другие темы иллюстрирует подобными данными намного подробнее.

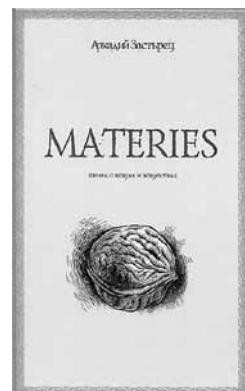
Имеющиеся недочеты не снижают важности работы. Поднятые проблемы практически «не прорабатываются» обществом (термин Т.Адорно) и государством. Память о Большом терроре и многих других античеловеческих преступлениях

совершенных в недалеком прошлом требуют переосмысления. Их нельзя забывать, потому что прошлое формирует настоящее и будущее. И те «неудобные» вопросы, затрагиваемые автором в сборнике — важное начинание в работе по проработке проблемы взаимоотношений человека и государства.

Раиса Базанова

## Свердловская жизнь на рубеже эпох

Аркадий Застырец. *Materies. Книга о вещах и веществах.* — Екатеринбург: *Творческое объединение «Уральский меридиан», 2012*



цу четверг или воскресенье, и на тот самый барабан с вмятиной, скажем, в левом боку.

Книга Аркадия Застырца «Materies» — своего рода персонифицированная азбука, в которой расположенные в алфавитном порядке знаки наполнены личными впечатлениями автора. При этом «Materies», как любая качественная литература, безусловно, хранит связь с родиной, с ее «Шампанским» в авоськах, коммуналками, «виниловыми джунглями» 70-х, равно как и с культурой — от Шекспира до Толкина, от Бетховена до «Led Zeppelin».

Необычная организация текста наводит на сравнение книги екатеринбургского автора с таким уникальным

литературным явлением как «Хазарский словарь» и недавно переведенной книгой Вальтера Беньямина «Берлинское детство на рубеже веков». В неподдающейся строгой жанровой классификации (воспоминания? эссе?) книге немецкий писатель и философ Вальтер Беньямин рассказывает о своем детстве, прошедшем в Берлине в начале прошлого века и приметах нового времени: телефоне, императорской панораме, духовом оркестре, обезьяньем театре и многом другом. Из этих паззлов-воспоминаний, как у Застырца, складывается картинка ушедшего времени.

Общими чертами «Materies» и «Хазарского словаря», помимо формальной организации, оказываются фрагментарность повество-

вания и относительная самостоятельность отдельных его частей, ограниченных развертыванием одного центрального образа. При этом как и Павича, так и у Застырца, сложные образы и события могут выходить за пределы одного повествовательного фрагмента. О нелегкой судьбе его прадедушки мы узнаем так же постепенно, открывая разные ее грани, как и в случае с таинственной принцессой Атех. В «Materies» звучат то витиеватые мотивы восточных сказок, то сбивчивые рассказы ребенка, и мир можно увидеть и глазами «пожилых женщины, существенно за пятьдесят», и глазами преуспевающего японца, который не понимает, почему его мудрый учитель не стремится сделать карьеру, плюс ко всему прозу нередко сменяет поэзия. Все это демонстрирует постмодернистский плюрализм стилей, жанров и точек зрения.

Однако в отличие от постмодернистов, провозгласивших смерть автора, Застырец в «Materies» живет очень активно. Именно он — главный герой, так или иначе, присутствующий во всех сюжетах. В этом смысле «Materies» автобиографична, ее составляют образы вещей, веществ и материй, объединенные исключительно авторским восприятием, их совместным присутствием и значимостью в конкретной жизни. «И, странное дело, алебастро-

вые шарики служили доказательством реальности не захватывающих приключений в книжке Марка Твена, а как раз наоборот — моей собственной жизни, моих ежедневных историй, горестей и радостей. В этом заключался завораживающий и единственный смысл алебастровых шариков».

Здесь нельзя не вспомнить Довлатова с его «Чемоданом», демонстрирующим тот же прием «овеществления» образов. Застырец, как и Довлатов, превращает автобиографический материал в метафоры, в анекдотические притчи, с той лишь разницей, что в «Чемодане» они наполнены юмором, перерастающим порой в сарказм, а «Materies» может вызвать разве что понимающую улыбку. Роднит эти произведения и их соотнесенность с литературной стороной жизни, интерес к писательской среде, который, по мнению Марка Липовецкого, объясняется неосознанным стремлением к восприятию «мира как текста». В самых обыденных ситуациях возникают в «Materies» Майя Никулина, Женя Касимов, Слава Курицын и другие поэты и писатели. Например, чтобы узнать, в какой именно день Аркадий Застырец обзавелся новым шкафом, читателю достаточно заглянуть «в какую-нибудь большую или малую литературную энциклопедию на букву «М» и отыскать биографию Месяца В.Г., если, конечно, со-

ставители не переврут, как это часто бывает, дату его рождения» Пишущих героев книги нередко сопровождают цитаты из их творчества, добавляющие к общекультурной интертекстуальности произведения, питаемой в том числе переводческой деятельностью автора, региональный, уральский компонент.

Фрагментарность книги обуславливает ее тематическое разнообразие. Отдельные идеи могут быть выражены всего в нескольких строчках «микроскопических новелл», подобных «Опавш \ \ ни к Железной Леди. Феликс и леди надо бы делать из других материалов».

Мысленно рассматривая различные артефакты собственной жизни, Застырец рассуждает о бытии и небытии, материальности и духовности, прошлом и будущем, о любви, дружбе, семье и других фундаментальных литературных категориях. При этом предмет, указанный в заголовке, может быть всего лишь деталью, дающей жизнь цепочке ассоциаций, которая уже не вернется к породившему ее предмету. Так под заголовком «Оргстекло» помещаются размышления о предназначении человека. «Вы спрашиваете, причем тут оргстекло? Да я ведь уже объяснял: подвернулось совершенно случайно». Или напротив, предмет или его часть могут пропитать текст на-

сквозь, стать свойством его героев или обстоятельств и привести к таким, например, умозаключениям: «Да вся Америка мне теперь вспоминается какой-то алюминиевой. Удобно, легко и дешево — результат промышленного извлечения» или «О, Господи, чего же иного ждать от таких вещичек, когда и Твою глину, сделавшуюся на время нашей плотью, неумолимо постигает та же участь!»

Одной из наиболее выпуклых и ярких тем «Materies» представляется борьба нового и старого, связь поколений, необходимость сохранения которой выражается автором уже в том, что в книге описаны пять поколений семьи Аркадия Застырца: от прадедушки до маленькой дочки. Человек мыслится частью бесконечной родовой цепочки. В простом прикладывании нагретой монеты к замерзшему стеклу угадывается важность ритуала «Подумать только, все дети во все времена так делали, а теперь — я. И значит, я принадлежу ко всем детям и всем временам...» и страх того, что таинство это исчезает: нынешним, совсем другим детям «должно быть очень страшно, холодно и одиноко в мире рационального отопления, и незамерзающих окон». Застырцу бесконечно дорог случайно записанный на диск бой старинных дедушкиных часов. Он с сожалением сообщает навсегда

ушедшей бабушке, что ваты в мире почти не осталось: «Может, эдак оно и лучше. Но эдак — не так. А так не будет уже никогда. Мы живем в эпоху «Тампэкса» и евроокон. И ради Бога, не спрашивай меня о том, что это такое!»

Бесследное и безвозвратное исчезновение нужных когда-то вещей, например, копирки, огорчает автора «Materies». Потому что все вещи, в его представлении неслучайны и взаимосвязаны. Он обнаруживает особое притяжение, «действующее в мире людей и материалов, очевидную логику, сводившую именно Танечкины ручки в цыпках с бархатистой красой аппликаций». Прикосновение к миру не разбирает высоких и низких вещей — утверждает Застырец.

С точки зрения технического мастерства проза Застырца отнюдь не идеальна. Он сам признается в этом, помещая в книгу замечания некоего неизвестного лица. «Нет такого слова — «мучась». «И относительно «серебряной пули, летящей между мирами». Да известно ли тебе, в кого полагается серебряные пули пускать? И чего же ты, следовательно, кроме красного словца, этой фигурой добивался? Сам-то понял, что сказал?» — вполне справедливо насаждает он на автора. Но в защиту Застырца хочется сказать, что подобные недочеты компенсируются видимым удоволь-

ствием от процесса письма. «Продленья, продолженья ради рождая сопряженья слов, и снов, сбывающихся чудно», Застырец играет со стилем и формой, и многие из этих экспериментов вполне удачны.

Но главное достоинство книги «Materies», пожалуй, в ее искренности и эмоциональности (стоит отметить, что она дополнена избранными стихотворениями (1978-2012) и переводами (Рембо, Верхарн, Бодлер, Вийон, Шекспир) автора). По степени насыщенности личными переживаниями и сокровенными мыслями она может быть отнесена скорее к эссеистике, чем к какому-либо другому жанровому направлению. Застырец не только «протягивает читателю руку», но порой приглашает его, как засидевшегося гостя, прямиком на кухню, которая служит и кабинетом, и гостиной, ту самую кухню, окна которой выходят на помойку, на которой был найден шкаф, к которому прикреплен в качестве украшения прадедушкин латунный медальон. Много мельчайших подробностей предстоит узнать читателю о хозяине этой квартиры, порой настолько интимных, что отшатнешься поначалу. Но будешь слушать дальше, потому что в мире «Тампэкса» и евроокон резко возрастает ценность откровенного разговора.

Кристина Суворова

## ...И две туфли громко падали на пол

Борис Пастернак. «Я на той же улице старинной...» Путешествие из Перми в Юртин / Boris Pasternak «Geh die gleiche alte Gasse nieder...» Reise von Perm nach Jurjatin. М.: Центр книги Рудомино, 2012. 368 с



Наших классиков в иноязычных переводах мы читаем не в пример реже и меньше, чем классиков зарубежных на русском. Причины этого вполне понятны. Центр книги Рудомино и, в частности, Александр Олегович Филиппов, подготовивший издание, создали повод русскоязычному читателю узнать прозу Бориса Пастернака по-немецки. Вообще же книга имеет двойной культурный аспект — кроме отмеченного, под обложкой тома собраны автобиографический очерк «Люди и положения», повесть «Детство Люверс», «Записки Патрика» и стихотворения Юрия Живаго из известного романа — во всех вещах фигурирует город Пермь. В предисловии к книге А. О. Филиппов говорит, что целью издания было «попытаться вернуть поэтическому Юртину его

подлинную географическую принадлежность».

Также — через «Детство Люверс» — попал в этот сборник Екатеринбург, тогда уездный маленький город и в целом Урал, который в каждый исторический период так или иначе заявлял о своей значимой роли в жизни страны. Сегодня сильно стремление Урала доказать, что он имеет право рассматриваться как культурная территория наравне с Москвой и Петербургом. Перми есть что рассказать и показать, есть что помнить — и она хочет, чтобы это знали и помнили другие. Пермь является хранительницей двух главных культурных достояний — уникальной деревянной христианско-языческой скульптуры и Бориса Пастернака (как явления) с его «уральскими ветвями».

«Я на той же улице старинной...» издано в Москве. Это значит, что Пастернак и Пермь — миф, который хочется развивать, и не только пермякам он интересен. Концепт «Пермь-Юртин» интригует и требует продолженного обращения, возвращения, переосмысления, установления, быть может, новых фактов. Разумеется, Пермь в данном случае интересна прежде всего из-за Пастернака, который свой нобелев-

ский роман возвращает на той почве, той земле, где

*Коптивший рассвет был сновторным. Не иначе: Он им был подсыпан — заводам и горам — Фабричным, печным, злызычным Горынычем, Как опий попутчику опытным вором.*

(«Урал впервые»)

Пастернак жил в Пермской губернии всего-то полгода (с середины января до конца июня 1916-го). Полгода хватило, чтобы образы Перми и Урала, поэтически осмысленные, запечатлелись надолго, были пронесены до конца, к главному итогу творчества — роману «Доктор Живаго».

В Петербурге или в Москве нельзя не испытывать трепета — воздух пронизан литературой: по тамошним улицам и набережным ходили те, кто составляет гордость русского человека, кто, собственно, определяет нашу приверженность к России, к русскости. Но в провинциальных городах их жители должны бы испытывать такой трепет утысяченными... Пермяки, думаю, испытывают.

«Я на той же улице старинной...» — не первое

издание, посвящённое теме «Пастернак и Пермь». Доктор филологических наук и профессор Пермского университета Владимир Васильевич Абашев — автор работ «Пермь как текст» (2000), где связности Пастернака и Перми посвящена глава, и «Путешествие с доктором Живаго. Борис Пастернак в Пермском крае» (2010). Кроме того, В. В. Абашев выступил составителем книги «Борис Пастернак. «Тут чудно хорошо...». Стихи и письма из Всеволодо-Вильвы» (2011).

Издание, подготовленное А. О. Филипповым, отличается изящное оформление (на обложке не то белые листы бумаги, точно ждущие, чтобы их заправили в печатную машинку или — современному — в принтер; не то книги в белых обложках, хранящих тайну содержания, пока не будут раскрыты; и то и другое так или иначе легко превращается воображением в строительный материал — кирпичи здания, где заключено главное наследство каждого — духовное). Много воздуха в этой книге — белой от начала до конца, как сам Урал, каким его увидел Пастернак впервые («Были снегом до отвала / Сыты сани, очи, ели»).

Переводы Эльке Эрб, Марги и Роланда Эрб, Рольфа-Дитриха Кайля публикуются по немецким изданиям 1958 и 1986 годов. Обращает на себя внимание буквальный немецкий перевод пастернаковского перевода

стихотворений Рильке («За книгой» / ориг. Der Lesende; «Созерцание» / ориг. Der Schauende), данный в примечании немецкого издателя. Вообще примечания в немецкой части даны там, где они нужны, и так, как они нужны, в особенности что касается названий отдельных произведений и книг: переведённые на немецкий язык, они сопровождаются немецкой транскрипцией русского оригинального названия.

Читая параллельно русского и немецкого Пастернака, я вдруг с особенной остротой поняла (словно бы не в сотый, а в первый раз), как перевод, даже самый хороший, всегда плох. С особенной остротой: речь идёт о русской поэзии (стихотворения Юрия Живаго), но, с другой стороны, эти переводы Рольфа-Дитриха Кайля действительно очень хороши — он остаётся максимально близким к подлиннику, и только особенности языков, обусловленные надъязыковыми (т.е. ментальностью) факторами, не позволяют Кайлю соответствовать оригиналу полностью. Я кусала губы, читая ту или иную строфу, от того, что на немецком (который, по моему убеждению, метафизически, как ни один другой язык, близок русскому) нельзя сказать так же точно, как сказал Пастернак (сохраняя всё вместе: и размер, и рифму, и звук, и — главное! — смысловые оттенки) на русском. Вот часть моего переживания — фраг-

мент из известной каждому школьнику «Зимней ночи»:

На озарённый потолок  
Ложились тени,  
Скрещенья рук, скрещенья  
ног,  
Судьбы скрещенья.  
И падали два башмачка  
Со стуком на пол.  
И воск слезами с ночника  
На платье капал.

И всё терялось в снежной  
мгле,  
Седой и белой.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

У Кайля это звучит так:

Auf die erhellte Decke  
schlicht  
Das Spiel der Schatten,  
Wo Arm und Bein und  
Schicksal sich  
Gekreuzt schon hatten.

Und zwei Pantoffeln fielen  
laut  
Zum Boden nieder.  
Vom Nachtlicht Wachs in  
Tränen taut  
Auf Rock und Mieder.

Und alles war verlorn und fort  
im weißen Tanze.  
Die Kerze brannte auf dem  
Bord,  
Die Kerze brannte.

И вот как это читается в обратном переводе буквально: На озарённый потолок прокралась / игра теней, / где рука и нога (!) и судьба / уже скрестились. // И две (домашних) туфли громко падали / на пол. / Воск от

ночника слезами тает / на юбке и корсаже. // И всё потерялось и исчезло / в белом танце. / Свеча горела на подоконнике // Свеча горела...

При сохранении пастернаковских размера и рифмовки Кайлю не удалось обойтись сходной лексикой (здесь, мне кажется, переводчик старался максимально сохранить звучание оригинального стиха и общую атмосферу затаившейся и затаённой тревоги, в этом звучании переданную), отчего произошло смещение картины в иную плоскость. Свеча переместилась со стола на подоконник; сказочное, ласковое «башмачок» можно было бы спасти уменьшительно-ласкательным суффиксом -chen (-хен), что вроде бы очевидно, но Кайль (разумеется, с умыслом) этого не делает; платье вдруг разделилось на верхнюю и нижнюю часть — закапанные воском каждая отдельно); самое дурное: пастернаковское «И всё терялось в снежной мгле, / Седой и белой» (три цвета, три состояния — три образа, слившихся в один) у Кайля

становится просто «белым танцем». И всё напряжение, весь восторг — всхлип — ужас красоты, которые Пастернак своей «Зимней ночью» распаляет, здесь сходят на нет.

Ну что ж, «Лесной царь» Жуковского и «Der Erlkönig» Гёте тоже два совершенно разных ребёнка, царя/короля, леса, всадника — мифа. И Рильке в переводе на язык Пастернака уже не вполне Рильке. Но при таком чтении (переживании, отчаянии) рождается настоящая страсть к языку и к поэзии подлинным — от своих корней и небес.

К слову сказать, Р.-Д. Кайль — ведущий пушкинист Германии, его перевод «Евгения Онегина» удостоен премии Французской Академии и выдержал несколько изданий, в том числе в России. Кайль изучал русский язык ещё студентом в довоенном Берлине. Во время войны, будучи переводчиком высокого ранга, попал в советский плен, но не стал враждебен по отношению к русским, ведь, по его собственным словам,

«ещё до того, как я попал в плен, я прочитал Пушкина» (см.: Иностранная литература, 1998, № 6). Благодаря Кайлю мы имеем удивительную возможность прочитать сегодня и Пастернака так, как если бы ему случилось быть немцем и писать по-немецки. Тем более что Германия, её литература и особенно поэзия, для Бориса Пастернака имела чрезвычайно большое значение.

В книгу не вошли первые уральские стихи Пастернака, в том числе «Урал впервые», фрагмент из которого процитирован выше. Составитель сообщает нам, что не удалось найти немецких переводов, но, обещает А.О.Филиппов, «когда появятся — у нас будет повод для нового издания». Остаётся только ждать и надеяться, что ожидание не будет тщетным. В конце концов, есть в этом определённое удовольствие — читать хорошо знакомое другими глазами, как в первый раз, и оказываться при этом всё-таки «на той же улице старинной».

Марта Шарлай

## Реальные словари

«По-пермски говоря» / научный редактор И. Подюков. — Пермь: Издатель Е. Трегубова, 2013

Словарь пермских слов и выражений «По-пермски говоря» — небольшая, можно сказать, карманная, или даже сувенирная,

книжка со смешными словами на мягкой обложке. Тем не менее, кажется вполне уместным посмотреть на нее серьезно.

Сегодня знания приобретают все большую ценность, а вместе с тем, и большую популярность. Сложные научные теории и открытия



разной степени сенсационности становятся предметом интереса массовой аудитории, и потребность эту с радостью удовлетворяют как сами ученые, так и СМИ. Мы регулярно узнаем из новостей об очках, дополняющих реальность информацией из сети, чудо-сканерах, превращающих обычную бумагу в виртуальный дисплей, и о том, что наконец-то обнаружены следы неуловимой черной материи. Нетрудно заметить, что прорывы в области точных наук и высоких технологий обсуждаются шире, чем исследования в гуманитарных областях.

Та же тенденция прослеживается и в научно-популярной литературе. Нам увлекательно объясняют «Что такое математика» и «Геном» и рассказывают «Биографию самого знаменитого в мире уравнения». «Краткая история времени» Стивена Хокинга распродается миллионными тиражами, и если количество и популярность книг по философии, психологии или истории хотя бы сравнимы с естественнонаучными конкурентами, то о филологии и лингвистике редко пишут за пределами академических изданий.

«По-пермски говоря» — это тот самый редкий случай. Авторы подчеркивают: издание лишено всякой академичности и представляет собой, скорее, «дневник наблюдений», не претендующий ни на полноту освещения особенностей пермского языка, ни на исключительную принадлежность представленных словесных богатств единственно Перми, ни на стопроцентную точность дефиниций. Достаточно бегло его пролистать, чтобы понять, что о полных научных соответствиях и обоснованиях не может быть и речи, настолько неформальны и непосредственны все эти «косяпорить» и «раздербанить», «пуханы» и «ватокаты». Трудно точно определить и различить выражения «Едришки-шишки», «Екуня-Ваня», «Епишин сын», «Ячменна кладь» и «Ёк-макарёк». Описать же научным языком варианты конструкций «Дак» и «Дак это» — еще сложнее, а такие шедевры, как «Есть чё» — почти невозможно.

Однако при всей прилизанности содержания и трактовок «По-пермски говоря» стоит на прочном фундаменте научных исследований, в частности, работах социолингвистов ПГПУ и заведующего кафедрой общего языкознания И.А. Подюкова. Благодаря чему при внимательном прочтении и восприятии с изрядной долей юмора и самоиронии, знакомство со словарем может составить вполне до-

стоверное представление о специфике семантики и синтаксиса пермской речи, о местном произношении и самобытности пермской языковой картины мира, а значит, и о регионе вообще, в той степени, в которой язык отражает культуру, психологию, мышление, географию и историю. Не менее полезным будет и знакомство с типичными пермскими ошибками, вроде «отстыть», «подскользнуться», «линуть» или «экспланада» и нестандартной расстановкой ударений. Возможно, именно свойственная словарю неосуждающая, но и не скрывающая насмешливой улыбки подача может оказаться эффективнее школьных уроков и ярче продемонстрировать нелепость привычного для многих звучания.

В контексте кризиса гуманитарных знаний «По-пермски говоря» оказывается книгой, противоречащей и противостоящей обстоятельствам. Она точно попала в нишу, где могла бы не только существовать, но и быть востребованной. А именно, издание словаря вполне соответствует стремлению, которое в последние несколько лет охватило пермскую общественность с подачи властей — улучшить имидж Пермского края, сделать регион привлекательным для туристов.

«Туристическая» направленность книги выражена не только в прямом обращении к пермякам и гостям города с призывом познакомиться

с Пермью и ее языком, но и в самом подборе материала. Немалую часть словаря составляет, получивший широкую известность, и потому хорошо узнаваемый лексикон «реальных пацанов». Для рассказа о том, как «ушатали ушлепка, отжали мобилу, замотали за пару касиков, взяли пивасика заорать, напильсь в дребезгач и пришли домой на четырех костях» можно найти пару десятков синонимов.

Но к счастью, этот образ любовно уравнивается информацией полезной и демонстрирующей лучшую сторону Перми: рядом с описанием семок есть короткий рассказ о традиционных блюдах и напитках, рядом с довольно плоскими шутками о Крохалях — история «Велты» и Пармы, а клип Сявы соседствует с «Капризкой» и героями Льва Давыдычева. А значит, существует некоторая

вероятность, что даже раскрывший словарь случайно и «просто по приколу», попутно узнает, чем гордится Пермь.

Короче, словарь пермских слов и выражений «По-пермски говоря» по натуре зыбанская книга. Не мохайте, посмотрите. Прочухайте, как в Пермязе говорят, а то дриснете не то, и все над вами будут растыкать.

*Кристина Суворова*

## Авторы номера

**Семен Ваксман** родился в 1936 году в Ставропольском крае. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности. Автор книг «Лик земли», «Златые горы», «Условный знак», «Дым», «Путеводитель по Юрятину». Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «Уральская новь», альманахе «Третья Пермь» и др.

**Екатерина Гашева** родилась в 1990 году в Перми. Окончила пермский педагогический университет. В 2011 году вошла в шорт-лист премии «Дебют» с романом «Штабная». Стихи и проза публиковались в «Илья-альманах», журналах «День и ночь», «Введенская сторона», сетевых изданиях «Пермский контекст» и «Мегалит».

**Ярослав Глущенко** родился в 1988 году в Перми. В 2009 году поступил на заочное отделение Литературного института и проучился там один семестр. Стихи публиковались в альманахе «Время перемен», сетевом поэтическом журнале «Новая реальность» и портале «Мегалит». Солист и автор текстов группы «Атака Медузы». Работает грузчиком.

**Георгий Звездин** родился в 1978 году в Перми. Жил в Казахстане и на Камчатке. Окончил четыре курса Военно-морского училища во Владивостоке. Публиковался в журнале «Урал», «Воздух», «Урал-Транзит»; антологиях «11:33» и «Современная уральская поэзия (2004-2001)». А также в сетевых изданиях — «Мегалит» и «Пермский контекст». Живет в Перми.

**Семен Киров (настоящее имя — Светлана Козлова)**. В 1993 году окончила Пермский институт искусства и культуры, режиссерское отделение. Пьесы и киносценарии пишет с 2007 года. Несколько пьес отмечено на конкурсе драматургов «Евразия». Пьесы опубликованы в журнале «Современная драматургия», сборниках «Сюжеты», «Лучшие пьесы 2009»; переведены на польский, английский. Пьесы поставлены в театрах Омска, Петербурга, Турку. Живет и работает в Перми.

**Андрей Кудрин** родился в 1973 году в Перми. Окончил исторический факультет Пермского государственного педагогического университета. Кандидат социологических наук. В 1998-2002 год штатно, до 2005 года внештатно работал преподавателем в ПГУ. Автор научных работ по социологии и истории. В настоящее время независимый исследователь. Сфера научных интересов: политология, социология, история партизанских выступлений в годы первой русской революции, история гражданской войны на Урале. Живет в Москве.

**Александр Кузьмин** родился в 1961 году в Иркутске. Вырос в Читинской области. С 1977 года живет в Перми. Учился на историческом факультете Пермского университета. Служил в армии. Стихи печатались в журналах «Юность», «Арион», «Уральская новь», альманахах «День и Ночь», «Лабиринт», «Третья Пермь», а также коллективных сборниках «Монарх. Семь самозванцев» и «Антология тишины».

**Наталья Лукьянова** родилась в 1971 году в Соликамске, Пермский край. Окончила художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института (НТГПИ). Работает директором школы дизайна, архитектуры и компьютерной анимации в Соликамске. Занимается живописью, графикой, батиком, иллюстрацией, комиксами. Работы находятся в государственных и частных российских и зарубежных коллекциях. Рассказы и повести печатались в журналах «Литературная Пермь», Golden Key; комиксы — в детском журнале «Вездепрыг».

Поддержка проекта была осуществлена Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края

Вещь: Литературный журнал. — Пермь: Издательство «Сенатор», 2013. — 132 стр.

Редактор:  
Павел Чечеткин

Выпускающий редактор:  
Юрий Куроптев

Издатель:  
Борис Эренбург

Дизайн обложки:  
Иван Моисеенко

Верстка, дизайн:  
Евгения Тесленко

Корректор:  
Анна Лукьянова

Иллюстрации:  
Вячеслав Смирнов (обложка, стр. 3, 6, 42, 63, 67, 70)

Фото:  
Предоставлено дирекцией Открытого уральского поэтического фестиваля «СловоНова»  
(стр. 90-95)  
Из архива Семена Соснина (стр. 49-62)

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу: [senator@permplanet.ru](mailto:senator@permplanet.ru)

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Адрес редакции:  
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21  
Тел. (342) 212-32-17  
e-mail: [senator@permplanet.ru](mailto:senator@permplanet.ru)

© «Вещь», 2013

© Авторы, 2013

© Издательство «Сенатор», 2013

